Мариз

Конде

Я, Титуба, ведьма из Салема



ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛУЧШЕГО КНИГИ ЛАУРЕАТОВ МИРОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

Вот история моей жизни. Горькая. Такая горькая.

18+

Я, Титуба, ведьма из Салема
Мариз Конде

Аннотация
Мариз Конде. Я, Титуба, ведьма из Салема
Часть I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Часть II
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
Эпилог

Аннотация

«Я, Титуба, ведьма из Салема» – исторический роман, посвященный резонансным событиям 1692 года, когда в ходе так называемой охоты на ведьм были осуждены и казнены девятнадцать человек.

В семь лет Титуба видела страшное – смерть собственной матери. Позже она была продана в рабство и отправилась в Америку, где ее обвинили в колдовстве. Мариз Конде не просто рассказывает о жизни чернокожей женщины, она делает мощное социальное заявление: в здоровом обществе нет места расизму и сексизму.

Мариз Конде
Я, Титуба, ведьма из Салема

© Линник З., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Целый год мы с Титубой прожили в очень тесной близости. Во время наших бесконечных разговоров она и поведала мне то, что до сих пор не доверяла никому.

Мариз Конде

Смерть – это дверь, ведущая к радости,

Жизнь – это озеро, которое топит всех в боли.[1]

Джон Харрингтон, поэт-пуританин XVI века

[1] Сноски: 1

Перевод А. Овчинниковой. — *Здесь и далее, кроме отдельно оговоренных случаев, прим. пер.*

Часть I

1

Моя мать Абена была изнасилована английским моряком прямо на палубе «*Christ the King*»[2] в один из дней 16… года, когда корабль держал курс к Барбадосу. От этого насилия я и родилась. От поступка, продиктованного ненавистью и презрением.

Когда несколько долгих недель спустя корабль прибыл в порт Бриджтауна, состояния моей матери никто даже не заметил. Скорее всего, не больше шестнадцати лет от роду, она была очень хороша собой: лицо цвета черного гагата, на высоких скулах — тонкий замысловатый рисунок из шрамов, означающих принадлежность к племени; поэтому богатый плантатор по имени Дарнелл Дэвис заплатил за нее очень хорошо. Одновременно с ней он приобрел и двоих мужчин, таких же уроженцев Антильских островов, жертв войны между фанти и ашанти. Он приставил мою мать к своей жене, которой так и не удалось утешиться от того, что покинула Англию; ее состояние, как физическое, так и

---

[2] Сноски: 2
Христа-Вседержителя (*англ.*).

умственное, требовало постоянных забот. Дэвис думал, что моя мать сумеет петь, чтобы развлечь ее, при необходимости станцует и проделает разные штуки, на которые, как он полагал, негры большие искусники. Двоих мужчин он отправил на плантацию сахарного тростника, который хорошо продавался, и табачные поля.

Дженнифер, супруга Дарнелла Дэвиса, была едва ли старше моей матери. Ее выдали замуж за этого грубого мужчину, которого она ненавидела и который вечерами оставлял ее одну и отправлялся пьянствовать; к тому же у Дэвиса уже была целая свора ублюдков. Дженнифер с моей матерью оказались связаны узами дружбы. В конце концов, обе они были всего лишь детьми, перепуганными рыками крупных ночных зверей и театром теней цезальпиний, калебасовых деревьев и папуасов с плантаций. Спали они рядом — и моя мать, пальцы которой играли с длинными волосами подруги, рассказывала истории, которые слышала от собственной матери в Акуапиме, своей родной деревне. Она призывала к их изголовью все силы природы, молила, чтобы ночь стала к ним добрее и чтобы кровососы до рассвета не выпили их досуха.

Когда Дарнелл Дэвис заметил, что моя мать

беременна, он, подумав о добрых фунтах стерлингов, которые за нее выложил, впал в ярость. И вот, пожалуйста, скоро у него на руках окажется женщина, которой вечно нездоровится и от которой ему не будет никакого толку! Он отказался уступить мольбам Дженнифер и, чтобы наказать мою мать, отдал ее Яо — одному из ашанти, которых купил одновременно с ней. Помимо этого, он запретил матери даже совать нос в хозяйский дом. Яо был молодым воином, не смирившимся с тем, что теперь вынужден сажать сахарный тростник, срезать его и перетаскивать на мельницу. Поэтому он дважды пытался покончить с собой, разжевывая ядовитые корни. Оба раза его в последний момент спасли и вернули к жизни, которую он ненавидел. Дарнелл надеялся, что, предоставив ему спутницу, он вернет ему и вкус к жизни, таким образом оправдав свои расходы. Какого же дурака он свалял тем июньским утром 16… года, отправившись на невольничий рынок в Бриджтауне! Один раб умер. Второй стремится свести счеты с жизнью. А Абена беременна!

Моя мать вошла в хижину Яо перед вечерней трапезой. Яо лежал, вытянувшись на подстилке, слишком удрученный, чтобы даже думать о еде, и едва проявил интерес к женщине, о прибытии

которой ему уже объявили.

Когда Абена появилась, он приподнялся на подстилке и прошептал:

— Akwaba.[3]

Затем узнал ее и воскликнул:

— Это ты!

Абена расплакалась. Слишком много бурь разразилось над ней за такую короткую жизнь: родная деревня, сгоревшая дотла, лежащие со вспоротыми животами родители, которые попытались защититься, изнасилование, а теперь ее так жестоко разлучили с нежным созданием, пребывающим в таком же отчаянии, что и она сама.

Яо поднялся на ноги; его голова достала до потолка хижины, этот негр не уступал ростом индейцам племени акома.

— Не плачь. Я тебя не трону. Я не сделаю тебе ничего плохого. Разве мы не говорим на одном и том же языке? Разве мы не поклоняемся одному и тому же богу?

Затем он опустил взгляд на живот моей матери:

— Это ребенок хозяина, не так ли?

От стыда и горя из глаз Абены хлынули еще

---

[3] Сноски: 3
Добро пожаловать.

более горючие слезы:

— Нет, нет! Но это все равно ребенок белого мужчины.

Она так и стояла перед ним, опустив голову; сердце Яо переполнили огромная жалость и нежность. Ему показалось, что унижение, которое испытала эта молодая женщина, олицетворяет унижение всего его народа — побежденного, разогнанного, проданного с аукциона. Он вытер влагу, струившуюся из ее глаз:

— Не плачь. С сегодняшнего дня твой ребенок мой. Слышишь меня? И горе тому, кто скажет, что это не так.

Абена не переставала плакать. Тогда он приподнял ей голову и спросил:

— Знаешь сказку о птице, которая смеялась над пальмовыми рогатками?

Мать еле заметно улыбнулась.

— Как могу я ее не знать? Это была моя любимая сказка. Ее мне каждый вечер рассказывала мать моей матери.

— И моя тоже… А сказку про обезьяну, которая хотела быть королем зверей? И поднялась она

на верхушку ироко[4], чтобы все преклонились перед ней. Но ветка сломалась, и обезьяна оказалась на земле, задницей в пыли…

Моя мать рассмеялась. Впервые за долгие месяцы. Яо взял узел, который она держала в руке, и собрался положить его в углу хижины. Затем извинился:

— Здесь все грязное, потому что я не чувствовал вкуса к жизни. Для меня она была словно грязная лужа, которую хочется обойти. Теперь, когда ты здесь, все по-другому.

Ночь они провели в объятиях друг друга, как брат и сестра, или скорее как отец и дочь — любящие и целомудренные. Прошла неделя, прежде чем они занялись любовью.

Когда четыре месяца спустя родилась я, Яо и моя мать познали счастье. Грустное счастье раба — неопределенное и вечно находящееся под угрозой, состоящее из почти неосязаемых крупиц! В шесть часов утра с мачете на плече Яо выходил в поле и занимал место в длинной веренице мужчин в отрепьях, волочивших ноги по тропинкам. В это время моя мать выращивала

---

[4] Сноски: 4

Тропическое дерево Milicia excelsa, иначе африканский дуб, африканский тик и др., используется в судостроении, при изготовлении полов и мебели.

на их клочке земли помидоры, окру или другие овощи, готовила, кормила тощих домашних птиц. В шесть вечера мужчины возвращались, и женщины окружали их заботой.

Моя мать плакала, что у нее родился не мальчик. Ей казалось, что участь женщин куда горестнее, чем мужчин. Разве они не должны удовлетворять прихоти тех, кто держит их в рабстве, и спать в ненавистных кроватях, чтобы облегчить свою судьбу?

Яо же, напротив, был доволен. Он взял меня в свои большие костлявые руки и помазал мне лоб свежей кровью цыпленка, перед этим закопав послед моей матери под сырным деревом[5]. Затем, держа меня за ноги, он представил мое тельце четырем сторонам света. Это он дал мне имя: Титуба. Ти-Ту-Ба.

Это не имя народа ашанти. Без сомнения, придумывая его, Яо хотел доказать, что я дочь его решимости и его воображения. Дочь его любви.

Первые годы моей жизни не были отмечены никакими событиями. Я была прелестным пухлым младенцем, молоко матери шло мне на пользу.

---

[5] Сноски: 5

Моринда цитрусолистная (*лат.* Morinda citrifolia) — небольшое дерево, широко распространенное в Южно-Тихоокеанском регионе.

Затем я научилась говорить и ходить. Я открыла вокруг себя печальную и в то же время восхитительную вселенную. Хижины из высушенной глины, темными силуэтами выделяющиеся на фоне безграничного неба, природная красота растений и деревьев, море и его резкая песнь свободы.

Яо поворачивал мое лицо к морскому простору и шептал мне на ухо:

— Однажды мы станем свободными и со всех сил на крыльях полетим к родной стране.

И натирал мое тело жгутом сушеных водорослей, чтобы спасти от фрамбезии[6].

По правде говоря, у Яо было двое детей: моя мать и я. Для матери он был гораздо больше, чем любовник, — отец, спаситель, убежище!

Когда я обнаружила, что мать меня не любит? Может, достигнув пяти или шести лет. Вовсе не потому, что я была «неудавшейся» — с лицом красноватого цвета и откровенно курчавыми волосами, — а потому, что не переставала вызывать у нее в сознании образ белого, который овладел ею на палубе «Christ the King» посреди круга моряков, гогочущих и отпускающих похабные

---

[6] Сноски: 6
Тропическая бактериальная инфекция кожи, костей и суставов.

шутки. В любое мгновение я напоминала матери о пережитой боли и унижении. Поэтому, когда я изо всех сил прижималась к ней, как это любят делать все дети, она неминуемо меня отталкивала. Когда я обхватывала руками шею матери, та спешила освободиться. Повиновалась моя мать только приказаниям Яо:

— Возьми ее на колени. Поцелуй ее. Приласкай ее…

Однако я не страдала от отсутствия привязанности — Яо любил меня за двоих. Моя маленькая рука в его руке, жесткой и шершавой. Моя крохотная ножка в огромном следе от его ноги. Мой лоб во впадине на его шее.

У жизни была какая-то нежность. Несмотря на запреты Дамена, вечерами мужчины усаживались верхом на тамтамы, а женщины поднимали свои лохмотья, открывая поблескивающие ноги. Они танцевали!

Впрочем, я много раз присутствовала при сценах жестокости и мучений. Мужчины возвращались все в крови; спина и верхняя часть туловища у них были покрыты алыми рубцами. Один из них умер на моих глазах, извергая из себя фиолетовую пену; его похоронили у сырного дерева. После все радовались: он хотя бы освобо-

дился, и его ждет скорое возвращение домой.

Материнство и особенно любовь Яо изменили мою мать. Теперь это была молодая женщина, гибкая и отливающая сиреневым, как цветок сахарного тростника. Она обвязывала лоб белым платком, из-под которого сверкали глаза. Однажды она взяла меня за руку, и мы пошли выкапывать клубни ямса на клочке земли, который хозяин предоставил рабам. Легкий ветерок гнал облака со стороны моря; нежно-голубое небо было словно вымытое. Барбадос, моя родина, — это плоский остров, можно с трудом насчитать лишь несколько разбросанных по нему небольших холмов.

Мы ступили на тропинку, змеившуюся в зарослях гвинейской травы[7], и вдруг услышали сердитый голос. Это был Дарнелл, выговаривавший старшему надсмотрщику. При виде моей матери выражение его лица полностью изменилось. Его черты попеременно выражали боровшиеся внутри него удивление и восторг. Дарнелл воскликнул:

— Это ты, Абена? Ну, вижу, муж, которого я дал, подходит тебе как нельзя лучше. Подойди!

---

[7] Сноски: 7
Высокоурожайная кормовая культура.

Мать отступила назад так резко, что с ее головы упала корзина, где лежали мачете и калебаса с водой, обычно пребывавшая в равновесии. Калебаса раскололась на три части, пролив содержимое в траву. Мачете воткнулся в землю, леденящий и смертоносный; корзина покатилась по тропе, словно убегая от драматической сцены, которой вскоре предстояло разыграться. Охваченная ужасом, я бросилась в погоню за корзиной и в конце концов настигла ее.

Когда я вернулась к матери, та стояла, прислонившись спиной к калебасовому дереву, и задыхалась. Дарнелл стоял менее чем в метре от нее. Он уже сбросил рубашку, расстегнул штаны, открыв взору белизну нижнего белья. Его левая рука шарила на уровне гениталий. Повернув голову ко мне, мать завопила:

— Мачете! Дай мне мачете!

Я выполнила это так быстро, как только могла, держа огромное лезвие в своих слабых ручках. Она ударила дважды. Медленно, очень медленно белая льняная сорочка окрасилась алым.

Мою мать повесили.

Я видела, как ее тело с разбитым затылком крутится на нижних ветвях сырного дерева.

Она совершила непростительное преступле-

ние. Она ударила белого. Нет, она его не убила. В порыве неуклюжей ярости ей удалось лишь слегка порезать ему плечо.

Мою мать повесили.

Смотреть на казнь были созваны все рабы. Когда она испустила дух, из каждой груди вырвалась песнь гнева и возмущения, которую надсмотрщики заглушили сильными ударами кнутов из бычьих сухожилий. Я же, укрывшись между юбок какой-то женщины, чувствовала, что внутри меня что-то затвердевает, будто вулканическая лава, чувство, которое, должно быть, останется со мной навсегда, — смесь ужаса и скорби.

Мою мать повесили.

Когда ее тело закрутилось в пустоте, мне хватило сил потихоньку отойти в сторону, присесть на корточки и тут же опорожнить желудок в траву.

Чтобы наказать Яо за преступление жены, Дарнелл продал его плантатору по имени Джон Инглвуд, жившему с другой стороны пика Хиллаби[8]. До места назначения Яо так и не добрался. По дороге ему удалось покончить с собой, проглотив язык.

Меня же, едва достигшую семилетнего воз-

---

[8] Сноски: 8
Самая высокая точка острова Барбадос.

раста, Дарнелл выгнал на плантацию. Я могла умереть, если бы меня не спасла та солидарность рабов, которая редко подводит.

Меня подобрала старуха. Она казалась ненормальной: когда-то, прямо у нее на глазах, предали мучительной смерти ее мужа и двоих сыновей, обвиненных в подстрекательстве к бунту. На самом деле она едва соприкасалась с действительностью, постоянно жила в их обществе, до крайности развив в себе дар общения с невидимыми. Старуха была не ашанти, как моя мать и Яо, а наго с побережья, где ее имя Йетунда стали произносить на креольский манер Ман Яя. Ее боялись. Но к ней приезжали издалека; причиной тому была ее сила.

Первым делом она погрузила меня в посудину, где плавали зловонные корни, заставляя воду течь вдоль моих рук и ног. Затем заставила выпить зелье своего приготовления и завязала на моей шее бусы из маленьких красных камушков.

— Ты будешь страдать в жизни. Много. Много. — Эти слова, повергшие меня в ужас, она произнесла спокойно, почти улыбаясь. — Но ты выживешь!

Меня это не утешало. Однако от сгорбленной

морщинистой Ман Яя исходили такая сила и уверенность, что я не осмелилась возражать.

Ман Яя научила меня растениям.

Тем, что вызывают сон. Тем, что излечивают раны и язвы.

Тем, что заставляют воров признаться.

Тем, что успокаивают припадочных и погружают их в блаженный покой. Тем, что вкладывают в уста яростных, отчаявшихся и желающих свести счеты с жизнью, слова надежды.

Ман Яя научила меня слушать ветер, когда тот поднимается и набирает силу над хижинами, намереваясь разметать их.

Ман Яя научила меня морю. Горам и холмам.

Она научила меня тому, что все живет, дышит, у всего есть душа. Что все следует уважать. Что человек — не хозяин, объезжающий на лошади свое королевство.

Однажды, примерно в середине дня, я задремала. Это была Четыредесятница[9]. Стоял палящий зной; работая мотыгой или мачете, рабы напевали что-то печальное. Я увидела свою мать — не изломанную несчастную марионетку, крутящуюся среди листвы, а расцвеченную всеми цветами

---

[9] Сноски: 9

Первые 40 дней Великого поста — время строгого воздержания, приготовляющее христиан к должной встрече Пасхи.

любви Яо. Я воскликнула:

— Мама!

Подойдя, она заключила меня в объятия. Боже! Какими нежными были у нее губы!

— Прости, что я подумала, будто ты меня не любишь! Теперь я все ясно вижу и никогда не покину тебя!

Я кричала, потеряв голову от счастья:

— А Яо? Где Яо?

Мать отвернулась.

— Он тоже здесь.

И Яо появился передо мной.

Я побежала рассказать об этом Ман Яя, которая чистила съедобные корни для вечерней трапезы. На ее лице появилась плутоватая улыбка.

— Ты что, думаешь, это был сон?

Я пришла в смущение.

С того дня Ман Яя посвятила меня в более высокое знание.

Мертвые уходят из жизни лишь тогда, когда умирают в наших сердцах. Они продолжают жить, если мы дорожим ими, чтим их память, если мы кладем им на могилы кушанья, которые они предпочитали при жизни, если через равные промежутки времени собираемся, чтобы о них вспоминать. Они здесь, они вокруг нас — жаж-

дущие внимания, жаждущие любви. Достаточно нескольких слов, чтобы призвать их, прижав их невидимые тела к своим, горящим нетерпеливым желанием быть полезными.

Но горе тем, кто вызовет их гнев, так как они никогда не прощают и преследуют своей безжалостной ненавистью своих обидчиков, пусть даже и невольных. Ман Яя научила меня молитвам, литаниям, искупительным деяниям. Когда я хотела изменить облик, полученный мной при рождении, она учила меня превращаться в птицу на ветке, насекомое в сухой траве, в лягушку, квакающую на илистой отмели реки Ормонд. И, что важнее всего, она научила меня жертвоприношениям. Кровь, молоко, основные жидкости. Увы! Через несколько дней после моего четырнадцатилетия ее тело подчинилось закону человеческой природы. Предавая Ман Яя земле, я не плакала. Я знала, что не одинока и что три тени подле меня сменяют друг друга, чтобы по очереди окружать заботой.

Как раз тогда Дарнелл продал плантацию. Несколькими годами ранее жена хозяина Дженнифер умерла, подарив ему сына — тщедушного младенца с бледной кожей, которого время от времени трясло в лихорадке. Несмотря на мо-

локо, которым в изобилии кормила его рабыня, вынужденная ради этого оставить собственного сына, мальчик казался отмеченным печатью смерти. Ради единственного отпрыска белой расы у Дарнелла проснулся отцовский инстинкт и побудил его вернуться в Англию, чтобы попытаться вылечить сына.

Новый хозяин поступил не так, как обычно делалось, — он купил землю без рабов. Рабов же, со скованными ногами и веревкой на шее, увели в Бриджтаун, чтобы там продать, а затем рассеять на все четыре стороны. Отец оказывался разлучен с сыном, мать — с дочерью. Так как я больше не принадлежала Дарнеллу и просто жила на плантации, я не стала частью этой печальной процессии, направлявшейся на аукцион рабов. Я знала уголок на берегу реки Ормонд у самой кромки воды; туда никто никогда не ходил, так как земля была заболоченной и малопригодной для сахарного тростника. В одиночку, полагаясь лишь на силу своих рук, мне удалось построить хижину на сваях. Терпеливо осушая одну узкую полоску земли за другой, я обозначила место для сада, где вскоре появились всевозможные растения. Их я сажала в землю по всем правилам, уважая волю солнца и ветра.

Сегодня я понимаю, что это было самое счастливое время моей жизни. Я никогда не была одинока: мои невидимые родные были рядом, не докучая при этом своим присутствием.

Ман Яя завершала часть моего обучения, касавшуюся растений. Под ее руководством я попробовала себя в скрещивании, сочетая маракуйю с бычьей сливой, ядовитый лимон — с лимоном кислым и азалией, азалии — с раффлезией. Я стряпала зелья, силу которых увеличивала с помощью заклинаний.

Вечерами над моей головой простиралось ярко-фиолетовое небо, будто большой платок, на котором одна за другой загорались звезды. Каждое утро солнце прикладывало руку ко рту, будто горн, будя меня и приглашая побродить вместе с ним.

Я находилась вдали от людей, и особенно белых. Я была счастлива. Увы! Всему этому предстояло измениться.

Однажды сильный ветер опрокинул курятник, поэтому мне пришлось отправиться на поиски своих кур и красивого петуха с ярко-алой шеей, при этом выйдя далеко за пределы тех границ, которые я себе обозначила.

На перекрестке я встретила рабов, везших на

мельницу телегу тростника. Печальное зрелище! Изможденные лица, покрытые грязью лохмотья, страшно худые руки и ноги, волосы, порыжевшие от плохого питания. Отцу помогал везти тележку двенадцатилетний мальчик — хмурый, замкнутый, будто взрослый, который больше ни во что не верит.

Увидев меня, все проворно попрыгали в траву и встали на колени. Все уставились на меня снизу вверх с почтением и ужасом. Я замерла в полном изумлении. Какие легенды сплелись вокруг моего имени?

Кажется, они боятся. Почему? Дочь повешенной, отшельница, живущая на краю болота, не достойна ли я скорее жалости? Я поняла, что люди прежде всего думают о том, что объединяет меня с Ман Яя, которой все побаивались. Почему? Разве Ман Яя не тратила свой дар на то, чтобы снова и снова творить добро? Их ужас казался мне несправедливостью. Ах! Меня следовало приветствовать криками радости и добрыми словами! Я бы изо всех сил попыталась вылечить этих людей от целой кучи недугов. Я создана для того, чтобы врачевать, а не для того, чтобы внушать страх. Я с грустью вернулась к себе, больше не думая ни о курах, ни о петухе, который сейчас,

должно быть, подпрыгивал в траве какой-нибудь большой дороги.

Эта встреча со своими была чревата последствиями. Именно с того дня я и стала приближаться к плантациям, чтобы показать свое истинное лицо. Меня, Титубу, нужно любить!

Подумать только: меня боятся; а ведь я ощущаю в себе только нежность, только сострадание! О да! Мне хотелось бы вызвать ветер, будто пса из будки, чтобы он унес далеко за горизонт белых хозяев и их дома; хотелось бы приказать огню взметнуть языки и, раскалив их докрасна, поглотить все это, чтобы весь остров оказался очищен! Но такой силы у меня не было. Все, что я умела, — предложить утешение.

Понемногу рабы привыкли к моему виду и стали подходить ко мне — сперва робко, затем со все большим доверием. Я входила в хижины, ободряла больных и умирающих.

2

— Эй! Это ты Титуба? Неудивительно, что люди тебя пугаются. Ты свое лицо видела?

Так заговорил со мной молодой человек значительно старше меня. Скорее всего, ему было не менее двадцати лет — высокий, долговязый, со светлым лицом и на удивление гладкими волосами. Когда я захотела ему ответить, все слова, будто по чьей-то злой воле, куда-то улетели; я не смогла составить ни одной фразы. К собственному огромному удивлению, я смогла лишь издать нечто вроде ворчания, которое вызвало у собеседника приступ безумного смеха. Молодой человек повторил:

— Нет, правда, неудивительно, что тебя боятся. Ты не умеешь говорить, волосы у тебя всклокоченные. А ведь ты могла бы быть красивой.

Он отважно приблизился. Если бы я больше привыкла к общению с людьми, то обнаружила бы страх в его глазах, подвижных как у кролика, и таких же золотисто-коричневых. Но на такое я была не способна; единственное, что произвело на меня впечатление, — это его улыбка и напускная храбрость в голосе. Наконец мне удалось

ответить:

— Да, я Титуба. А ты кто?

Он произнес:

— Меня зовут Джон Индеец.

Имя оказалось необычным, и я нахмурила брови.

— Индеец?

Он напустил на себя самоуверенный вид:

— Говорят, мой отец был одним из тех редких араваков, которых англичане не обратили в бегство. Великан ростом в восемь футов. Среди бесчисленных потомков, которых он заделал, один был от женщины наго, к которой он заглядывал вечерами. И вот он я, тот самый ребенок!

Он снова обернулся вокруг себя, смеясь во все горло. Эта веселость меня просто ошеломила. Значит, на этой полной невзгод земле есть счастливые создания… Я пролепетала:

— Ты раб?

Он утвердительно кивнул:

— Да, я принадлежу госпоже Сюзанне Эндикотт, которая живет там, в Карлайл Бэй.

Он указал в сторону моря, мерцавшего на горизонте.

— Она послала меня купить у Сэмюэля Уотер-

манса яиц леггорна[10].

Я спросила:

— Кто такой Сэмюэль Уотерманс?

Он засмеялся. Снова этот смех человека, полностью довольного жизнью!

— Ты не знаешь, что это тот, кто купил плантацию Дарнелла Дэвиса?

С этими словами он наклонился и поднял круглую корзинку, которую перед этим поставил на землю у своих ног.

— Ладно, теперь мне надо идти. Иначе я опоздаю, а госпожа Эндикотт ко всему прочему — сущий младенец. Знаешь, как женщины любят ребячиться? Особенно когда они начинают стареть и у них нет мужа.

Такой поток слов! У меня кружилась голова. Когда, помахав мне на прощанье рукой, он стал удаляться, не знаю, что на меня нашло, но с совершенно незнакомым самой выражением в голосе я спросила:

— Я тебя еще увижу?

Джон Индеец в упор посмотрел на меня. Не знаю, что он прочел на моем лице, но, напустив на себя важный вид, произнес:

---

[10] Сноски: 10

Самая высокопродуктивная порода домашних кур средиземноморского происхождения.

— В воскресенье ближе к вечеру в Карлайл Бэй танцы. Хочешь пойти? Я там буду.

Я непроизвольно кивнула.

Не торопясь, я вернулась к своей хижине. Будто впервые увидела то место, которое столько времени служило мне убежищем; оно показалось мне тоскливым. Доски, грубо обтесанные топором, почернели от дождя и ветра. Прислонившейся с левой стороны огромной бугенвиллее не удалось украсить дом, несмотря на пурпур цветов. Я посмотрела вокруг: узловатое калебасовое дерево, заросли камыша. Я вздрогнула. Направившись к тому, что осталось от курятника, я схватила одну из немногих птиц, которые оставались мне верны. Опытной рукой я вспорола ей живот, чтобы кровь, будто роса, увлажнила землю. Затем нежно позвала:

— Ман Яя! Ман Яя!

Очень скоро она появилась передо мной. Не в смертном облике женщины преклонных лет, а в том, который надела для вечности. Благоухающая, на шее, будто ожерелье, венок из бутонов флердоранжа. Задыхаясь, я сказала:

— Ман Яя, хочу, чтобы этот мужчина любил меня.

Она покачала головой:

— Мужчины не любят. Они обладают. Они порабощают.

Я возразила:

— Яо любил Абену.

— Это одно из редких исключений.

— Может быть, он тоже станет одним из них!

Ман Яя откинула голову назад, чтобы было удобнее издать нечто вроде недоверчивого смешка.

— Говорят, этот петушок покрыл половину кур в Карлайл Бэй.

— Я хочу, чтобы это прекратилось.

— Мне было достаточно лишь взглянуть, чтобы узнать, что это пустой негр, полный ветра и бесстыдства.

Заметив в моем взгляде сильнейшее нетерпение, Ман Яя посерьезнела.

— Хорошо, иди на эти танцы в Карлайл Бэй, куда он тебя позвал; там изловчись и пролей на тряпочку немного его крови. Принеси ее мне с чем-то, что постоянно притрагивалось к его коже.

Перед тем как она удалилась, я успела заметить на ее лице грусть. Без сомнения, она наблюдала, как начинает исполняться моя судьба. Моя жизнь — река, которую невозможно повернуть вспять.

До тех пор я никогда не думала о своем теле. Красивая ли я? Безобразная? Мне это было неизвестно. Что он тогда сказал?

«Знаешь, ты могла бы быть красивой».

Но он таким способом насмехался. Возможно, издевался надо мной. Я сняла свои лохмотья, легла и провела рукой по телу. Мне показалось, что его выпуклости и кривые вполне гармоничны. Когда рука приблизилась к сокровенным местам, мне показалось, что это больше не я сама, а так ласкает меня Джон Индеец. Вырвавшись из глубин тела, ароматная волна затопила мне бедра. В ночи я услышала собственный хрип.

Возможно, именно так, вопреки самой себе, и моя мать хрипела, когда моряк насиловал ее? Тогда я поняла, что она захотела оградить свое тело от второго унижения — обладания ею без любви — и попыталась убить Дарнелла.

Что Джон Индеец еще сказал? «У тебя волосы всклокочены».

На следующий день, едва проснувшись, я отправилась на реку Ормонд и с грехом пополам обстригла свою шевелюру. Когда в воду упали последние пушистые пряди, я услышала вздох. Это была моя мать. Я никого не звала, но поняла, что неминуемая опасность заставила ее выйти

из невидимости. Мать простонала:

— Почему женщины не могут обойтись без мужчин? Вот и тебя сейчас повлечет на другую стороны воды…

Удивленная, я переспросила:

— На другую сторону воды?

Но она ничего больше не стала объяснять, повторяя голосом, полным скорби:

— Почему женщины не могут обойтись без мужчин?

Все это — недовольство Ман Яя, стенания матери — могло бы побудить меня к осторожности. Но ничего такого не произошло. В воскресенье я отправилась в Карлайл Бэй. В сундуке я отыскала фиолетовое индейское платье и юбку из перкаля[11], должно быть, принадлежавшую моей матери. Когда я вытаскивала все это из сундука, на землю упало два предмета. Две сережки из тех, что обычно носят креолки. Я подмигнула невидимому.

В последний раз я была в Бриджтауне еще при жизни матери. За почти десять лет город значительно расширился и стал важным портом. Залив затемнял целый лес из мачт, я видела развевав-

---

[11] Сноски: 11

Прочная хлопчатобумажная ткань из некрученых нитей.

шиеся на них флаги всех стран. Деревянные дома показались мне изящными — веранды, огромные крыши, окна на которых широко распахивались, будто глаза ребенка.

Найти место танцев не составило труда: музыка слышалась издалека. Если бы у меня было какое-то представление о календаре, я бы знала, что время Карнавала — единственный период, когда рабы свободны развлекаться как им заблагорассудится. Вот они и сбегались со всех уголков острова, чтобы попытаться забыть, что больше не люди.

На меня смотрели, я слышала перешептывания:

— Откуда она?

Очевидно, никто даже не подумал установить связь между нарядной молодой особой и полумифической Титубой, о деяниях которой шли разговоры от плантации к плантации.

Джон Индеец танцевал с высокой шабенкой[12] в ярком поношенном мадрасе[13]. Он довольно резко оставил ее посреди площадки для танцев и

---

[12] Сноски: 12

На французских Антильских островах так называют афрокарибских обитателей со светлой кожей.

[13] Сноски: 13

Яркий платок из полушелковой ткани.

пошел ко мне. В глазах у него сверкали звездочки, помнившие его предка Аравака. Джон засмеялся:

— Это ты? Это и в самом деле ты?

Затем повлек меня за собой:

— Идем, идем!

Я сопротивлялась.

— Я не умею танцевать.

Он снова рассмеялся. Господи, как этот человек умел смеяться! И с каждой нотой, вылетавшей из его горла, у меня в сердце рушилась еще одна преграда.

— Негритянка, которая не умеет танцевать? Где это видано?

Вскоре мы немного покружились. На пятках, на лодыжках у меня выросли крылья. Мои бедра, моя талия были гибкими и податливыми. В меня вошел таинственный змей. Был ли это тот первородный змей, о котором столько раз говорила Ман Яя, образ бога — создателя всего сущего на земле? Не он ли заставлял меня трепетать?

Высокая шабенка в поношенном мадрасе иногда пыталась втиснуться между Джоном и мной. Мы не обращали на это никакого внимания. В то мгновение, когда Джон Индеец вытирал себе лоб большим носовым платком из ткани Пондичер-

ри[14], я снова вспомнила слова Ман Яя: «Немного его крови. Какую-нибудь его вещь, которая бы постоянно соприкасалась с его телом».

На мгновение я будто слегка опьянела. Неужели это так необходимо, ведь он, похоже, и так уже соблазнен «естественно»? Затем я догадалась, что главное — не столько соблазнить мужчину, сколько удержать его, и что Джон Индеец, судя по всему, относится к той разновидности мужчин, которые легко поддаются соблазну и пренебрегают любыми долгими отношениями. И я сделала то, чего от меня хотела Ман Яя.

Когда я искусно вытащила носовой платок, при этом поцарапав ему руку ногтем мизинца, он воскликнул:

— Ай! Что ты там делаешь, ведьма?

Он сказал это в шутку. Тем не менее меня это огорчило.

Что же такое ведьма?

Я заметила, что в его устах это слово было словно запятнано позором. Как же это? Как? Способность общаться с невидимыми, сохранять связь с исчезнувшими, умение заботиться, лечить — разве все это не является наивысшей

---

[14] Сноски: 14

Город на юго-востоке Индии, известный изготовлением хлопковых тканей.

милостью природы, к которой следует испытывать почтение, восхищение и благодарность? Поэтому разве ведьма — если кому-то угодно так называть ту, что обладает этим даром, — не должна вызывать вместо страха почтение и стремление угодить?

Опечаленная подобными размышлениями, я покинула зал, едва закончилась последняя полька. Джон Индеец оказался слишком занят, чтобы заметить мой уход, но позже он неожиданно догнал меня.

Снаружи черная струна ночи сжимала горло острова, намереваясь разрезать его. Безветрие. Деревья неподвижны, будто застыли в немой молитве. На память мне пришли жалобные слова матери:

— Почему женщины не могут обойтись без мужчин?

Да, почему?

— Я не дикарь из леса! Я никогда не приду жить в кроличий ящик[15], который у тебя там в зарослях. Если хочешь жить со мной, тебе нужно перебраться ко мне в Бриджтаун! — заявил Джон Индеец.

---

[15] Сноски: 15

Имеется в виду жилье, которое изготавливают из отслужившей свое лодки. Ее покрывают крышей и проделывают окна.

— К тебе?

Усмехнувшись, я добавила:

— У раба нет никакого «ко мне»! Разве ты не принадлежишь Сюзанне Эндикотт?

Он казался недовольным:

— Да, я принадлежу госпоже Сюзанне Эндикотт, но хозяйка добра…

Я перебила его:

— Как хозяйка может быть доброй? Разве раб может любить хозяина?

Сделав вид, словно не услышал моих слов, Индеец продолжил:

— У меня собственная хижина за ее домом, в ней я могу делать все, что хочу.

Он взял меня за руку:

— Титуба, знаешь, что о тебе говорят? Что ты ведьма.

Снова это слово!

— …я хочу доказать всем, что это не так, и открыто взять тебя в законные спутницы жизни. Мы вместе пойдем в церковь, я научу тебя молитвам…

Мне следовало сбежать, верно? Вместо этого я осталась стоять, полная бездействия и обожания.

— Молитвы знаешь?

Я покачала головой.

— Как мир был создан на седьмой день? Как отец наш Адам был изгнан из земного рая из-за проступка матери нашей Евы…

Что за странную историю он мне тут плетет? Однако я была не в состоянии возражать. Вытащив руку из его руки, я повернулась спиной. Он шепнул прямо мне в затылок:

— Титуба, разве ты меня не хочешь?

В этом и состояло все несчастье. Я хотела этого мужчину так, как до этого ничего никогда не хотела. Я желала его любви так, как никогда не желала ничьей другой. Даже любви матери. Я хотела, чтоб он до меня дотронулся. Хотела, чтобы он меня ласкал. Я только и ждала того мгновения, когда он меня возьмет и задвижки моего тела откроются, освободив воды удовольствия.

Он снова заговорил, поднеся рот к самой моей коже:

— Разве ты не хочешь быть со мной с того мгновения, когда глупые петухи встопорщивают перья на птичьем дворе, и до того, когда солнце тонет в море и начинаются самые жаркие часы?

У меня нашлись силы, чтобы подняться на ноги.

— Сейчас ты просишь меня об очень важной вещи. Дай мне восемь дней, чтобы поразмышлять.

Ответ я дам тебе прямо на этом самом месте.

Он в бешенстве подхватил свою соломенную шляпу. Что в нем, в этом Джоне Индейце, было такого, что я была буквально больна им? Не такой уж высокий, точнее, среднего роста — 170 сантиметров, — не самый крепкий, не урод, но в то же время и не красавец! Великолепные зубы, глаза, полные огня! Должна признаться, что, задавая себе этот вопрос, я определенно лицемерила. Я прекрасно знала, в чем заключается его главное достоинство, и не осмеливалась устремлять взор ниже джутовой веревочки, удерживавшей его коноко[16], где под белой тканью вырисовывался величественный холм, обозначающий принадлежность его пола.

Я сказала:

— Итак, до воскресенья.

Едва вернувшись домой, я призвала Ман Яя; та появилась с угрюмым видом и не желала меня выслушать.

— Что ты еще хочешь? Разве ты не удовлетворена? Вот он тебе и поселиться у него предлагает…

Я еле слышно произнесла:

— Ты хорошо знаешь, что я не хочу возвращать-

---

[16] Сноски: 16

Короткие узкие штаны невольника. — *Прим. авт.*

ся в мир белых.

— И все же надо, чтобы ты прошла через это.

— Почему?

Я почти выкрикнула:

— Почему? Ты не можешь привести его сюда? Или это означает, что твоя власть имеет пределы?

Она не рассердилась и посмотрела на меня с самым нежным состраданием.

— Я всегда тебе это говорила. У Вселенной свои правила, которые я не могу полностью переиначивать. Иначе я уничтожила бы этот мир, переделав его в другой, где наши были бы свободны. Свободны в свою очередь поработить белых. Увы! Я этого не могу!

Я не нашла слов возражения, и Ман Яя исчезла так же, как и появилась, оставив после себя запах эвкалипта, обозначавший недолгое присутствие гостя из мира невидимых.

Оставшись одна, я зажгла огонь между четырьмя камнями, установила свой канари[17] и бросила в воду кусок свиного сала и острый перец, чтобы приготовить рагу. Однако к еде у меня душа совсем не лежала.

---

[17] Сноски: 17

Глиняный котелок. — *Прим. авт.*

Моя мать когда-то была изнасилована белым. Она была повешена из-за белого. Я тогда увидела язык, который чуть высовывался у него изо рта, набухший фиолетовый член Дарнелла. Мой приемный отец покончил с собой из-за белого. И, несмотря на все это, я собиралась снова жить среди них, в их среде, в подчинении им. И все это — из-за необузданной страсти смертного. Разве это не безумие? Безумие и предательство?

Я боролась сама с собой и в ту ночь, и в следующие семь дней и ночей. В конце концов я признала поражение. Никому из живущих не пожелаю терзаний, через которые я прошла. Угрызений совести. Состояния, когда стыдишься сама себя. Панического страха.

В следующее воскресенье я впихнула в доминиканскую[18] корзину несколько платьев матери и три нижние юбки. Намертво заклинила дверь хижины. Выпустила живность. Кур и цесарок, которые столько времени кормили меня яйцами. Корову, которая давала мне молоко. Свинью, которую я откармливала уже год и которую мне так и не хватило решимости убить.

Я прошептала бесконечную молитву обитате-

[18] Сноски: 18

Сплетенная из травы и листьев традиционным способом по обычаю коренных жителей региона.

лям этого места, которое я покидала.

И затем направилась в Карлайл Бэй.

3

Сюзанна Эндикотт была миниатюрной женщиной примерно пятидесяти лет с седеющими волосами, разделенными посредине пробором и собранными в такой тугой пучок, что тот стягивал кожу на лбу и на висках. В ее глазах цвета морской волны я прочла все отвращение, которое ей внушала. Она разглядывала меня так, словно я была омерзительной вещью.

— Титуба? Откуда это имя?

Я холодно произнесла:

— Мне его дал отец.

Она покраснела от гнева.

— Опускай глаза, когда со мной разговариваешь.

Ради любви к Джону Индейцу я подчинилась. Она продолжила:

— Ты христианка?

Джон Индеец поспешил вмешаться:

— Я обязательно научу ее молитвам, хозяйка! И я скоро поговорю с кюре прихода Бриджтауна, чтобы она получила святое крещение, как только это станет возможно.

Сюзанна Эндикотт снова в упор посмотрела

на меня.

— Будешь убирать дом. Раз в неделю будешь скрести пол. Будешь стирать и гладить белье. Но готовить еду ты не будешь. Я и дальше буду заниматься этим сама, так как не выношу, чтобы всякие негры притрагивались к моей пище своими руками, с внутренней стороны бесцветными, будто воск.

Я посмотрела на свои ладони — серо-розовые, словно морские раковины.

Пока Джон Индеец приветствовал эти слова раскатами смеха, я стояла в полном ошеломлении. Никто никогда не говорил со мной в таком унизительном тоне!

— А теперь идите!

Джон принялся переминаться с одной ноги на другую и произнес одновременно плаксивым, нежным и нарочито скромным голосом, будто ребенок, выпрашивающий поблажку:

— Хозяйка, когда негр решает взять себе жену, разве он не заслуживает двух дней отдыха? Ну хозяйка…

Глаза Сюзанны Эндикотт стали цвета моря в очень ветреный день. Она отрывисто бросила:

— Хорошую же супругу ты себе выбрал, и дай бог, чтобы тебе не пришлось в этом раскаяться!

Джон снова рассмеялся, пролепетав между двумя звучными нотами:

— Дай бог! Дай бог!

Сюзанна Эндикотт резко смягчилась:

— Убирайся, появишься во вторник.

Джон продолжил настаивать в той же комической и карикатурной манере:

— Два дня, хозяйка! Два дня!

Она бросила:

— Ладно, уговорил! Как и всегда со мной! Появишься в среду. Но смотри, не забудь, что это почтовый день.

Он с гордостью произнес:

— Разве я когда-нибудь об этом забывал?

Затем он бросился на пол, чтобы схватить ее руку и поцеловать. Вместо того чтобы позволить это сделать, хозяйка ударила его по лицу.

— Проваливай, черномазый!

Внутри меня кипела вся кровь. Джон Индеец, знавший, что я чувствую, поспешил меня увести. В это мгновение голос Сюзанны пригвоздил нас к полу:

— Ну а ты, Титуба, не поблагодаришь меня?

Джон сжал мои пальцы, едва не раздавив их. Мне удалось выдавить:

— Спасибо, хозяйка.

Сюзанна Эндикотт была вдовой богатого плантатора, одного из тех, кто первым научил голландцев искусству извлечения сахара из тростника. После смерти мужа она продала плантацию и освободила всех рабов, так как, согласно непонятному мне противоречию, ненавидела негров, в то же время яростно выступая против рабства. При себе она оставила только Джона Индейца, при рождении которого присутствовала. Ее просторный красивый дом в Карлайл Бэй располагался посреди парка, засаженного деревьями, в чаще которых стояла хижина — право же, достаточно нарядная — Джона Индейца. Ее плетеные стены были побелены известью, словно это небольшая веранда, на столбах которой висит гамак.

Джон Индеец запер дверь на деревянную защелку и заключил меня в объятия, шепча:

— Долг раба — выжить. Слышишь? Выжить.

Его слова напомнили мне о Ман Яя, и по моим щекам потекли слезы. Джон Индеец выпил их одну за другой, проводя языком по каждой соленой струйке и заканчивая движение внутри моего рта. Я рыдала. Досада, стыд, который я испытала от его поведения перед Сюзанной Эндикотт, не исчезли, сменившись чем-то вроде ярости, подхлестнувшей мою страсть. Я жестоко укусила

Джона Индейца за шею. Он рассмеялся своим красивым смехом и воскликнул:

— Иди сюда, кобылка, я объезжу тебя.

Он поднял меня с земли и унес в комнату, где совершенно неожиданно, будто причудливо украшенная крепость, стояла кровать с балдахином. Мысль, что я лежу на кровати, по всей вероятности, подаренной Сюзанной Эндикотт, удесятерила мой пыл. Первые мгновения нашей любви больше походили на сражение.

Я так долго ждала этого. Я была ублаготворена.

Когда, вся разбитая от усталости, я повернулась на бок в поисках сна, то услышала горький вздох. Это, без сомнения, была мать, но я отказалась с ней говорить.

Эти два дня были сплошным волшебством. Не властный и не ворчливый, Джон Индеец привык все делать самостоятельно и обращался со мной как с богиней. Именно он замесил маисовый хлеб, приготовил рагу, нарезал ломтиками авокадо, гуавы с розовой кожицей и папайи со слабым запахом гнили. Он подал мне все это в кровать на тарелке из половинки тыквы вместе с ложкой, которую сам вырезал и украсил узором из треугольников. Джон Индеец превратился в рассказчика, пританцовывающего посреди вооб-

ражаемого круга.

— Тим, тим, сухой лес! Двор спит?

Он растрепал мои волосы и причесал по-своему. Он натер мое тело кокосовым молоком, благоухающим иланг-илангом.

Но два дня длились всего лишь два дня. Ни часом больше. В среду утром Сюзанна Эндикотт забарабанила в дверь, и мы услышали ее голос злобной мегеры:

— Джон Индеец, ты помнишь, что сегодня почтовый день? А ты здесь с женой милуешься!

Джон соскочил с кровати.

Я же оделась не так поспешно. Когда я пришла в особняк, Сюзанна Эндикотт завтракала на кухне. Миска овсянки и ломтик гречишного хлеба. Она указала мне на висевший на стене круглый предмет и спросила:

— Умеешь определять время?

— Время?

— Да, несчастная, это стенные часы. И ты должна каждое утро начинать работу в шесть часов!

Затем она показала мне ведро, метелку и щетку для чистки:

— За работу!

В особняке насчитывалось двенадцать комнат и чердак, где громоздились кожаные чемоданы

с одеждой покойного Джозефа Эндикотта. По-видимому, этот мужчина любил хорошее белье.

Когда я снова спустилась вниз, шатаясь от усталости, в грязном промокшем платье, Сюзанна Эндикотт пила чай с подругами, полудюжиной женщин, таких же, как она сама: кожа цвета прокисшего молока, зачесанные назад волосы, концы шали завязаны на уровне талии. Все они уставились на меня: в глазах всех цветов ясно читалось смятение.

— Откуда она?

Сюзанна Эндикотт произнесла с шутливой торжественностью:

— Это супруга Джона Индейца!

Женщины хором воскликнули; одна из них запротестовала:

— Под вашей крышей! Я считаю, Сюзанна Эндикотт, вы даете этому парню слишком много свободы. Вы забываете, что это негр.

Сюзанна Эндикотт снисходительно пожала плечами:

— Что же, я предпочитаю, чтобы все, что ему нужно, было в доме. Так лучше, чем бегать через всю страну, теряя силы и проливая семя!

— Она, по крайней мере, христианка?

— Джон Индеец скоро научит ее молитвам.

— И вы собираетесь их поженить?

Больше всего меня ошеломили и возмутили даже не сами слова, а то, каким образом они произносились. Можно было подумать, что меня нет, что я не стою на пороге этой самой комнаты. Они говорили обо мне и в то же время не считались со мной. Они будто вычеркивали меня из числа людей. Я была никем. Невидимкой. Более невидимой, чем невидимые: те, по крайней мере, обладают силой, которой все боятся. У Титубы теперь оставалась только та реальность, которую хотели предоставить ей эти женщины.

Это было невыносимо.

Титуба становилась отвратительной, грубой, приниженной потому, что так за нее решили они. Я вышла в сад и услышала их замечания, свидетельствовавшие, как тщательно они успели меня рассмотреть, пока делали вид, будто я не достойна внимания.

— У нее взгляд, от которого кровь стынет в жилах. Глаза ведьмы. Сюзанна Эндикотт, будьте осторожны.

Вернувшись к своей хижине я, совершенно подавленная, уселась на веранде.

Некоторое время спустя я услышала вздох. Это снова была моя мать. На этот раз я повернулась к

ней и спросила со свирепой злобой в голосе:

— Когда ты была на этой земле, то не знала любви?

Она покачала головой.

— Меня он не унизил. Напротив. Любовь Яо вернула мне самоуважение и веру в себя.

Сказав это, она печально присела на землю у куста кайенской розы. Я оставалась в полной неподвижности. Мне нужно было сделать лишь несколько движений. Встать, взять свой тощий узелок с бельем, закрыть за собой дверь и направиться на реку Ормонд. Увы! Так поступить мне помешали.

Рабы, которых целыми партиями выводили работорговцы и смотреть на которых собиралось все высшее общество Бриджтауна, чтобы хором высмеивать их походку, черты лица и осанку, — даже они были куда свободнее меня. Они не выбирали свои цепи. Они не шли по собственной воле к огромному бушующему морю, чтобы сдаться работорговцам и подставить спины для клеймения.

А вот я все это как раз и сделала.

— Верую в бога-отца всемогущего, создателя неба и земли и в Иисуса Христа, его единственного сына, господа нашего…

Я неистово замотала головой:

— Джон Индеец, я не могу этого повторить!

— Повторяй, любовь моя! Для раба важнее всего выжить! Повторяй, моя королева. Ты, может, вообразила, будто я сам верю в их сказку о святой троице? В единого бога, существующего в виде трех отдельных людей? Но это не так важно. Достаточно сделать вид. Повторяй!

— Не могу!

— Повторяй, моя любовь, моя кобылка с гривой из листвы! Единственное, что имеет значение: разве мы будем не вдвоем в этой большой кровати, похожей на плот, на котором словно поплывешь сквозь пороги?

— Не знаю! Я больше не знаю!

— Уверяю тебя, моя любовь, моя королева, — это единственное, что имеет значение! Ну же, повторяй за мной!

Джон Индеец насильно соединил мои руки, и я повторила вслед за ним:

— Верую в бога, всемогущего отца, создателя неба и земли…

Но эти слова ничего для меня не значили. Это не имело ничего общего с тем, чему учила Ман Яя.

Не особенно доверяя Джону Индейцу, Сюзанна Эндикотт сама взялась заниматься мной — про-

верять у меня уроки катехизиса и объяснять мне слова из святой книги. Каждый день в четыре часа она поджидала меня, скрестив руки на толстом, переплетенном в кожу томе; его она открывала, только перекрестившись и прошептав короткую молитву. Я стояла перед ней, изо всех сил стараясь найти нужные слова.

Вряд ли я смогла бы объяснить, какое воздействие оказывала на меня эта женщина. Она меня парализовывала. Она наводила ужас.

Под ее взглядом цвета морской волны я совершенно терялась. Я становилась тем, кем она хотела меня считать. Нескладной дылдой с кожей отвратительного цвета. Напрасно я взывала к помощи тех, кто любит меня, они оказались глухи к моим мольбам. Оказавшись вдали от Сюзанны Эндикотт, я ругала себя, осыпала упреками и клялась сопротивляться во время нашей следующей встречи один на один. Я даже представляла себе дерзкие и насмешливые ответы, которые могли бы победоносно последовать за ее вопросами. Увы! Достаточно было оказаться перед ней, как вся самоуверенность тут же меня покидала.

В тот день я толкнула дверь кухни, куда Сюзанна Эндикотт спускалась ради наших уроков; по ее безмятежному взгляду я поняла, что у нее есть

грозное оружие, которым она не замедлит воспользоваться. Однако урок начался как обычно. Я храбро начала:

— Верую в бога отца всемогущего, создателя…

Она не стала меня прерывать.

Она позволила мне бормотать, запинаться, спотыкаться на скользких слогах английского языка. Когда, ответив урок до конца, я стояла, запыхавшись так сильно, словно бегом поднялась на гору, Сюзанна Эндикотт спросила:

— Не ты ли дочь той самой Абены, которая убила плантатора?

Я возразила:

— Она не убила его, хозяйка! Всего лишь ранила!

На лице Сюзанны Эндикотт появилась улыбка, означавшая, что все мои доводы не имеют для нее ровным счетом никакого значения. Хозяйка продолжила:

— Не ты ли была воспитана некой негритянкой наго — ведьмой, зарабатывавшей колдовством и называвшей себя Ман Яя?

Я пролепетала:

— Ведьмой! Ведьмой! Она излечивала, исцеляла!

Ее улыбка стала еще более ядовитой, тонкие

бесцветные губы затрепетали:

— А Джон Индеец знает все это?

Мне удалось возразить:

— Разве в этом есть что-то, что следует скрывать?

Сюзанна Эндикотт опустила глаза на книгу. В это мгновение в кухню вошел Джон Индеец с охапкой дров; увидев меня подавленной и растерянной, он сразу понял: готовится что-то страшное. Увы! Лишь спустя несколько долгих часов я смогла ему довериться:

— Она знает! Она знает, кто я такая!

Его тело сделалось жестким и ледяным, будто у того, кто вчера умер. Он прошептал:

— Что она тебе сказала?

Я рассказала ему все, и он испустил вздох, полный отчаяния.

— Не прошло и года, как губернатор Даттон приказал сжечь на площади Бриджтауна двух рабынь, обвиненных в сделке с Сатаной; для белых именно это и означает быть ведьмой!..

Я заявила:

— С Сатаной! Пока я не переступила порог этого дома, я вообще не знала этого слова.

Он усмехнулся.

— Так тебя в суде и послушают!

— В суде?

Ужас Джона Индейца был таким, что я слышала, как сердце скачет у него в груди бешеным галопом. Я потребовала:

— Объясни!

— Ты не знаешь белых. Случись им подумать, что ты ведьма, как они тут же сложат костер и поставят тебя на него!

Той ночью, впервые с тех пор, как мы начали жить вместе, Джон Индеец не занимался со мной любовью. Пылая, я извивалась рядом с ним, жаждала наслаждения. Но меня всякий раз отталкивали.

Ночь все тянулась и тянулась.

Я слышала, как воет сильный ветер, пролетавший над верхушками пальм. Слышала, как волнуется море. Слышала, как лают собаки, натасканные вынюхивать негров-бродяг. Слышала крики петухов, возвещающие начало дня. Затем Джон Индеец встал и, не произнеся ни слова, спрятал в одежду тело, в котором мне отказал. Я разрыдалась.

Когда я вошла на кухню, чтобы приступить к утренним работам, Сюзанна Эндикотт была занята серьезным разговором с Бетси Ингерсол, женой пастора. Они говорили обо мне, я это зна-

ла; их головы почти соприкасались над облачком пара, поднимавшимся из мисочек с овсянкой. Джон Индеец был прав. Намечался заговор.

В суде слово раба и даже свободного негра не значило ровным счетом ничего. Напрасно бы мы надрывали горло, вопя, что до недавнего времени я даже не знала, кто такой Сатана. Никто бы не обратил на это внимания.

Вот тогда я и приняла решение защитить себя. Без дальнейшего промедления.

Я вышла из дома в три пополудни, в сильную жару, но не чувствовала укусов солнца. Спустилась на площадку за хижиной Джона Индейца и погрузилась в молитвы. В этом мире не было места для Сюзанны Эндикотт и меня. Одна из нас лишняя, и вовсе не я.

4

— Я провела всю ночь, призывая тебя. Почему ты приходишь только сейчас?

— Я была на другом конце острова, утешая рабыню, спутник жизни которой умер под пыткой. Они его выпороли. Посыпали раны жгучим перцем, а затем вырвали ему гениталии.

В другое время этот рассказ возмутил бы меня до глубины души, но сейчас оставил равнодушной. Я с пылом начала:

— Хочу, чтобы она сгорела на медленном огне в самых ужасных страданиях, при этом зная, что причина их — я.

Ман Яя покачала головой.

— Не позволяй желанию мести овладеть тобой. Используй свое искусство, чтобы служить своим и облегчать их страдания.

Я не соглашалась:

— Но она объявила мне войну! Она хочет забрать у меня Джона Индейца!

Ман Яя издала печальный смешок.

— Ты потеряешь его в любом случае.

Я пролепетала:

— Как же это?

Она не ответила, словно не желая ничего добавлять к тому, что у нее вырвалось. Видя, как я расстроена, мать, которая присутствовала при разговоре с Ман Яя, вполголоса произнесла:

— По правде сказать, эта потеря — благо для тебя. С этим негром ты бы такого нахлебалась!

Ман Яя бросила на нее взгляд, полный упрека, и мать замолчала. Я предпочла оставить эти слова без внимания и повернулась к Ман Яя, спрашивая только ее:

— Ты можешь мне помочь?

Мать снова заговорила:

— Ветер и наглость! Этот негр — всего лишь ветер и наглость!

В конце концов Ман Яя пожала плечами:

— Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала? Разве я не научила тебя всему, чему могла научить? Кстати, скоро я ничего не смогу для тебя делать!

Глядя правде в глаза, я смирилась и спросила:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я буду так далеко. Мне понадобится столько времени, чтобы перейти через воду! И потом, это будет так трудно!

— Почему ты должна будешь перейти через воду?

Мать залилась слезами. Поразительно! Жен-

щина, которая при жизни обращалась со мной так неласково, оказавшись в загробном мире, принялась защищать меня, иногда делая это с чрезмерным пылом. Немного рассердившись, я решительно повернулась к ней спиной и повторила:

— Ман Яя, почему тебе будет нужно перейти через воду, чтобы увидеть меня?

Ман Яя не ответила, и я поняла, что, несмотря на привязанность ко мне, мое положение смертной обязывает ее к некоторой сдержанности. Молчаливо согласившись с этим, я вернулась к предшествующим заботам:

— Хочу, чтобы Сюзанна Эндикотт умерла!

Мать и Ман Яя поднялись на ноги, двигаясь совершенно одинаково. Ман Яя немного устало произнесла:

— Даже если она умрет, твоя судьба все равно исполнится. И ты осквернишь свое сердце. Ты станешь подобной тем, кто только и умеет, что убивать, разрушать. Ограничься тем, чтобы поразить ее какой-нибудь неудобной унизительной болезнью!

Два образа удалились; я осталась одна и стала размышлять, как поступить дальше. Неудобной и унизительной болезнью? Какую выбрать? Ко-

гда сумерки вернули меня Джону Индейцу, мне еще не удалось прийти ни к какому решению. Мой муж, казалось, излечился от своих страхов и даже принес мне подарок: купленную у торговца-англичанина фиолетовую бархатную ленту, которую сам повязал мне на волосы. Я вспомнила, как неодобрительно говорили о нем мать и Ман Яя, и попыталась успокоиться.

— Джон Индеец, ты меня любишь?

Он проворковал:

— Больше самой жизни. Больше господа бога, которым нам Сюзанна Эндикотт прожужжала все уши. Но в то же время я тебя боюсь…

— Почему ты меня боишься?

— Потому что знаю, какая ты необузданная! Часто я вижу тебя чем-то вроде урагана, разрушающего остров, нагибающего кокосовые пальмы и поднимающего до самого неба лезвие свинцового цвета.

— Замолчи! Займись со мной любовью!

Два дня спустя Сюзанну Эндикотт, когда она наливала чай жене пастора, схватили сильнейшие судороги. Та едва успела выйти, чтобы окликнуть Джона Индейца, коловшего дрова перед домом, когда по бедрам почтенной дамы стек зловонный ручеек, образуя на полу покрытое пеной озеро.

Позвали доктора Фокса — человека науки, который в свое время учился в Оксфорде и опубликовал книгу *Wonder of the Invisible World*[19]. Этого доктора выбрали не случайно. Болезнь Сюзанны Эндикотт была слишком внезапной, чтобы не вызвать подозрений. Еще недавно, повязав шаль вокруг корсета и покрыв волосы чепцом, она учила детей катехизису. Еще недавно она помечала голубым крестом яйца, которые собиралась продать на рынке, послав туда Джона Индейца. Может быть, она уже говорила кому-то из своего окружения о подозрениях, которые я ей внушала? Так или иначе, доктор Фокс обследовал ее с головы до ног. Если он и был отброшен волной ужасного смрада, исходившего от ложа больной, то не подал вида и почти три часа оставался с ней за запертой дверью. Когда он спустился оттуда, я услышала, как он говорит пастору и нескольким прихожанам что-то непонятное:

— Я не нашел ни в одной из сокровенных частей ее тела сосков — больших или малых, — которые сосал бы дьявол. Я также не нашел ни одного красного или голубого пятна, подобного укусу блохи. Более того, я не обнаружил и отметин,

---

[19] Сноски: 19
Чудо невидимого мира (*англ.*).

лишенных чувствительности, которые, будучи уколоты, не кровоточили бы. Таким образом, я не могу привести никаких убедительных доказательств.

Как бы мне хотелось присутствовать при низвержении своей противницы, превратившейся в неопрятного младенца, завернутого в пеленки, покрытые пятнами! Но ее дверь приоткрывалась лишь для того, чтобы пропустить серую мышку — одну из ее верных подружек, — то вносившую, то выносившую поднос или ночной горшок.

Пословица гласит: «Когда кота нет на месте, крысы устраивают бал!»

В субботу, последовавшую за переходом Сюзанны Эндикотт на постельный режим, Джон Индеец устроил бал! Я и до этого хорошо знала, что он не такой, как я — мрачное существо, выросшее в обществе одной-единственной старухи, — но даже представить себе не могла, что у него столько друзей! Они прибыли к нему отовсюду, даже из отдаленных провинций Сент-Люси и Сент-Филипп. Один раб целых два дня брел из Каблез Рок.

В числе гостей была высокая шабенка в поношенном мадрасе. Она ограничилась тем, что, не подходя ко мне, бросила сверкающий от гнева

взгляд, словно поняла, что имеет дело с более сильной соперницей. Один из мужчин стащил из магазина своего хозяина бочонок рома, который открыл ударом молотка. После того как два или три стакана, передававшиеся из рук в руки, совершили круг, ром ударил всем в голову. Конголезец, похожий на корявый сучковатый шест, прыгнул на стол и принялся выкрикивать загадки:

— Слушайте меня, негры! Слушайте как следует! Я не король, не королева, однако я заставляю мир сотрясаться.

Собравшиеся расхохотались:

— Ром, ром!

— Как бы я ни была мала, а хижину освещаю.

— Свечка, свечка!

— Я послал Матильду за хлебом. Хлеб пришел раньше Матильды.

— Кокос, кокос!

Не привыкшая к шумному разнузданному поведению, я была ужасно перепугана, от такой распущенности меня немного тошнило. Джон Индеец взял меня за руку.

— Не делай такое лицо, а то мои друзья скажут, что ты важничаешь. Они скажут, что твоя кожа черная, но под ней у тебя белая маска…

Я вздохнула.

— Дело не в этом. А если кто-то услышит весь этот шум и придет посмотреть, что здесь происходит?

Он засмеялся.

— Какая разница? От негров все только и ждут: стоит хозяевам повернуться спиной, как они напиваются и пляшут. Так давай изобразим негров как можно лучше.

Мне это не показалось забавным, но Джон Индеец, больше не обращая на меня внимания, резко развернулся и бросился в неистовую мазурку.

Самое главное развлечение наступило, когда невольники пробрались внутрь дома, где Сюзанна Эндикотт варилась в собственной моче, и вернулись с охапками вещей, когда-то принадлежавших ее покойному мужу. Они натянули их на себя, копируя напыщенные манеры мужчин его сословия. Один раб обвязал платок вокруг шеи и притворился пастором. Он изобразил, будто открывает книгу, перелистывает ее и с той же интонацией, с которой читают молитвы, начал перечислять длинный список непристойностей. Все смеялись до слез, и Джон Индеец первый. Затем «пастор» прыгнул на бочку и повысил голос.

— Сейчас я вас поженю, Титуба и Джон Индеец. Если кто-нибудь знает препятствие этому союзу,

пускай выйдет вперед.

Высокая шабенка в поношенном мадрасе вышла и подняла руку:

— Я знаю одно такое! Джон Индеец сделал мне двух ублюдков, похожих на него, как один пенни на другой. И обещал жениться.

Совершенно очевидно, что шалость могла оказаться испорченной. Но этого не произошло. Под новый взрыв смеха импровизированный пастор, состроив вдохновенную мину, торжественно объявил:

— В Африке, откуда мы все родом, каждый имеет право на такое количество женщин, сколько его руки могут обнять. Иди с миром, Джон Индеец, и живи с обеими своими негритянками.

Все зааплодировали, кто-то бросил нас с шабенкой в объятия Джона Индейца, принявшегося покрывать поцелуями и меня, и ее. Я притворилась, будто смеюсь, но должна сказать, что кровь у меня так и кипела. Ускользая в объятия другого танцора, шабенка бросила мне:

— Мужчины, дорогуша, созданы для того, чтобы ими делиться.

Отказавшись отвечать, я вышла из дома и села под верандой.

Вакханалия длилась до самого рассвета. Стран-

ное дело, никто не пришел, чтобы нас утихомирить.

Два дня спустя Сюзанна Эндикотт послала за Джоном Индейцем и за мной. Она сидела на кровати, прислонившись спиной к подушкам. Кожа у нее была такой же желтой, как ее моча, лицо изможденное, но спокойное. Окно открыли, чтобы пощадить обоняние тех, кто ее посещал, и чтобы все зловонные испарения утонули в очистительном запахе моря. Сюзанна Эндикотт посмотрела на меня в упор, и снова я не смогла выдержать ее взгляда. Она произнесла, чеканя каждый слог:

— Титуба, я знаю, что это ты колдовством ввергла меня в то состояние, в котором я нахожусь. Ты достаточно искусна, чтобы ввести в заблуждение Фокса и всех, кто изучает науку по книгам. Но меня ты обмануть не можешь. Я хочу сказать, что сегодня ты торжествуешь. Пусть! Только, видишь ли, завтрашний день принадлежит мне, и я отомщу. Ах, я тебе отомщу!

Джон Индеец застонал, но она не обратила на него ни малейшего внимания. Отвернувшись к перегородке, Сюзанна Эндикотт дала нам понять, что разговор закончен.

Сразу после полудня к ней пришел мужчина;

таких на улицах Бриджтауна я раньше не встречала. По правде говоря, вообще нигде! Высокий, очень высокий, с головы до ног одетый в черное, лицо белое как мел. Он уже собирался подняться по лестнице, когда его взгляд остановился на мне. Стоя вполоборота к нему, с метлой и ведром, я едва не упала замертво. Я уже много говорила про взгляд Сюзанны Эндикотт. Но сейчас! Представьте себе зеленоватые холодные глаза, хитрые и проницательные, те, что создают зло, видя его повсюду. Как будто стоишь перед змеей или какой-нибудь мерзкой зловредной рептилией. В этом я сразу же убедилась; разве не так Лукавый, о котором нам прожужжали все уши, должен разглядывать людей, которых желает сбить с пути, а затем погубить?

Голос мужчины оказался под стать его взгляду — холодный и пронизывающий.

— Негритянка, ты чего это на меня так уставилась?

Я удрала со всех ног.

Затем, едва снова обретя способность двигаться, я побежала к Джону Индейцу, который на веранде точил ножи, напевая бигину[20]. Прижав-

---

[20] Сноски: 20
Мелодия антильского танца.

шись к нему, я наконец пролепетала:

— Джон Индеец, я только что встретила Сатану!

Он пожал плечами:

— Эй! Вот теперь ты говоришь будто христианка!

Затем, поняв, в каком я смятении, он привлек меня к себе и нежно произнес:

— Сатана не жалует дневной свет, ты встретишься с ним только после захода солнца. Он любит ночь…

Следующие несколько часов я прожила в страхе и тревоге.

Впервые в жизни я проклинала свое бессилие. Моему искусству многого не хватало, чтобы оно стало полным, завершенным. Ман Яя покинула землю людей слишком рано, ей не хватило времени приобщить меня к третьей ступени знаний — самой высокой, самой сложной.

Я могла вступать в общение со сверхъестественными силами и при их поддержке менять настоящее, но разгадывать знаки будущего я не умела. Для меня оно оставалось неведомой территорией, покрытой густыми зарослями, где стволы деревьев переплетены так сильно, что не пропускают ни света, ни воздуха.

Я чувствовала, что мне угрожают страшные опасности, но была не в состоянии их назвать и знала: ни моя мать Абена, ни Ман Яя не могут вмешаться, чтобы просветить меня.

В ту ночь бушевал ураган.

Я услышала, как он движется издалека, набирает силу и мощь. Сырное дерево в саду попыталось воспротивиться, но к полуночи сдалось, со страшным грохотом уронив самые высокие ветви. Банановые же деревья покорно полегли и утром являли собой зрелище необычного опустошения.

Это смятение природы делало произнесенные Сюзанной Эндикотт угрозы еще более страшными. Не должна ли я исправить содеянное мной, может быть, чересчур поспешно, и вылечить почтенную даму, явившую такую силу духа?

Я продолжала задаваться вопросами, как быть дальше, когда пришла Бетси Ингерсол и сказала, что хозяйка требует нас к себе.

Мысленно уже расставшись с жизнью, я появилась перед этой фурией. От хитрой улыбки, растягивавшей ее бесцветный рот, мне не приходилось ожидать ничего хорошего. Сюзанна Эндикотт начала:

— Моя смерть приближается…

Джон Индеец счел себя обязанным разразиться

громкими рыданиями, но она продолжила, не обратив на него внимания:

— В подобном случае долг хозяина — подумать о будущем тех, кого господь бог вверил его заботам. Я хочу сказать, детей и рабов. Я не познала радости быть матерью. Вам же, своим рабам, я нашла нового хозяина.

Джон Индеец пролепетал:

— Нового хозяина, госпожа?

— Да, это служитель божий, который позаботится о ваших душах. Это священнослужитель по имени Сэмюэль Паррис. Он попытался заняться здесь торговлей, но дела не пошли. Поэтому он уезжает в Бостон.

— В Бостон, госпожа?

— Да, это в американских колониях. Приготовьтесь последовать за ним.

Джон Индеец пришел в растерянность. С самого детства он принадлежал Сюзанне Эндикотт. Она научила его читать молитвы, подписываться. Он был убежден, что в один прекрасный день она заговорит о его освобождении. Но теперь вместо этого вот так просто объявляет ему, что его продает. И кому, господи? Незнакомцу, который собирается пересечь море, чтобы попытать счастья в Америке… В Америке? Продает его, того,

кто сроду не был в этой Америке?

Я же понимала, в чем состоит ее ужасающий расчет. Сюзанна Эндикотт целилась не в него. Это меня она ссылала в Америку! Разлучив при этом с родной землей, с теми, кто меня любит и чье общество мне так необходимо. Она прекрасно знала, что я не могу возразить. Ей также были известны доводы, которые у меня была возможность привести. Да, я могла бы воскликнуть:

— Нет, Сюзанна Эндикотт! Я спутница жизни Джона Индейца, но у вас нет права числить меня среди своей собственности вместе со стульями, комодом, кроватью и перинами. Следовательно, вы не можете меня продать, и джентльмен из Бостона не наложит руку на мои сокровища.

Да, но если бы я сказала все это, то нас разлучили бы с Джоном Индейцем! Разве Сюзанна Эндикотт не преуспела в жестокости? И еще непонятно, кто из нас двоих ужаснее. В конце концов, болезнь и смерть написаны у человека на роду; возможно, я всего лишь поторопила их вторжение в жизнь Сюзанны Эндикотт! А что сделала она с моей жизнью?

Джон Индеец встал на колени, а затем на четвереньках обошел вокруг ее кровати. Ничего не помогло! Сюзанна Эндикотт оставалась

непреклонна, лежа под балдахином, широко раскрытые занавески которого походили на раму с бархатными складками.

Мы понуро вышли из комнаты.

На кухне перед очагом, где варился овощной суп, пастор беседовал с каким-то мужчиной. При звуке наших шагов тот обернулся; с ужасом, охватившим все мое существо, я узнала незнакомца, который так напугал меня накануне. Нахлынуло ужасное предчувствие: начали сбываться слова, произнесенные ровным голосом, в то же время острые, будто топор, лишенные интонации, но вместе с тем наполненные убийственной жестокостью.

— На колени, исчадия ада! Я ваш новый хозяин! Меня зовут Сэмюэль Паррис. Завтра, как только солнце откроет глаза, мы отчалим на бригантине *«Blessing»*[21]. Моя жена, Бетси, моя дочь, и Абигайль — несчастная племянница, которую мы с женой взяли под опеку после смерти родителей, — уже на борту.

---

[21] Сноски: 21
Благословение (*англ.*).

5

Новый хозяин заставил меня встать на колени на палубе бригантины среди канатов, бочек и ухмыляющихся матросов, после чего струйкой вылил мне на лоб ледяной воды. Затем приказал встать; я последовала за ним на нос судна, где находился Джон Индеец. Хозяин приказал нам встать на колени рядом друг с другом. Он подошел, и его тень накрыла нас, заслонив солнечный свет.

— Джон и Титуба Индеец, объявляю вас соединенными священными узами брака, чтобы жить в мире, пока смерть не разлучит вас.

Джон Индеец пролепетал:

— Аминь!

Я же не смогла произнести ни слова. Мои губы словно слиплись. Несмотря на удушающую жару, мне было холодно. Между моими лопатками струился ледяной пот, будто я подхватила малярию, холеру или тиф. Я не осмеливалась смотреть в сторону Сэмюэля Парриса, настолько велик был ужас, который тот мне внушал. Вокруг нас было ярко-синее море и непрерывная темно-зеленая линия побережья.

6

Но был один человек, разделявший страх и отвращение, которые вызывал у меня Сэмюэль Паррис, — это я не замедлила приметить. Его жена Элизабет.

Молодая женщина необыкновенной красоты; ее прекрасные светлые волосы, хоть и спрятанные под жестким чепцом, пенились вокруг головы, будто светящийся ореол. Она куталась в шали и покрывала, так как дрожала от холода, несмотря на теплый затхлый воздух в каюте. Женщина улыбнулась мне и произнесла таким же приятным голосом, как журчание воды в реке Ормонд:

— Это ты, Титуба? Какая, должно быть, жестокость — разлучить тебя с родными. Со своим отцом, матерью, со своим народом…

Ее сострадание меня удивило. Я тихо произнесла:

— К счастью, у меня есть Джон Индеец.

На ее нежном лице появилась гримаса отвращения.

— Какая же ты дурочка, если думаешь, будто муж может быть приятным спутником жизни

и что прикосновение его руки не вызовет у тебя дрожь, пробегающую вдоль спины!

И она прервала себя, словно решив, что сказала лишнее. Я спросила:

— Госпожа, вам, кажется, плохо! Что у вас болит?

Она невесело рассмеялась:

— У изголовья моей постели сменили друг друга более двадцати врачей, и ни один не смог найти причину недуга. Все, что я знаю: мое существование — сплошная мука! Когда я стою, у меня кружится голова. Меня все время тошнит, будто я ношу ребенка, несмотря на то что небеса только раз осенили мое тело благодатью, позволив произвести на свет дитя. Иногда мой живот пронзают невыносимые боли. Месячные — настоящая пытка, причем ноги у меня становятся будто ледышки.

Со вздохом она снова откинулась на узкую тахту и натянула жесткое шерстяное покрывало до самой шеи. Я подошла; она жестом велела присесть рядом, прошептав:

— Какая ты красивая, Титуба!

— Красивая?

Это слово я произнесла с недоверием, так как зеркало, которое ранее протягивали мне Сюзанна

Эндикотт и Сэмюэль Паррис, уже убедило меня в обратном. Внутри словно развязался какой-то узел; побуждаемая неодолимым порывом, я предложила:

— Госпожа, позвольте мне вас вылечить!

Улыбнувшись, она взяла меня за руки.

— Столько других до тебя пробовало это сделать, и ни у кого ничего не получилось! Но руки у тебя нежные, это правда. Нежные, будто срезанные цветы.

Я усмехнулась.

— Разве вам когда-нибудь случалось видеть черные цветы?

После минутного размышления она ответила:

— Нет, но если бы они существовали, то были бы похожи на твои руки.

Я положила руку ей на лоб, как ни странно, ледяной и одновременно с тем мокрый от пота. Чем она больна? Я догадывалась, что это разум влечет за собой тело, как, впрочем, при большинстве человеческих недугов.

В это мгновение дверь открылась от грубого толчка, и вошел Сэмюэль Паррис. Вряд ли я смогла бы сказать, кто из нас двоих — госпожа Паррис или я — был более смущен и повергнут в ужас. Голос Сэмюэля Парриса не стал громче ни на

малость, кровь не бросилась в его белое как мел лицо. Он просто заявил:

— Элизабет, вы что, с ума сошли? Вы позволяете этой негритянке сидеть рядом с вами? Титуба, вон отсюда, и побыстрее!

Я подчинилась.

На палубе холодный воздух подействовал на меня подобно упреку. Что? Я молча позволю этому человеку обращаться со мной как с животным? Я уже собиралась передумать и вернуться в каюту, когда встретилась взглядом с двумя девочками, наряженными в длинные черные платья, на фоне которых резко выделялись узкие белые фартуки. На головах у девочек были чепцы, из-под которых не выбивалось ни единой волосинки. Никогда не видела, чтобы детей так одевали. Одна из них, как две капли воды походившая на бедную затворницу, которую я только что оставила, спросила:

— Это ты Титуба?

Я узнала ласковые интонации ее матери.

Другая девочка, на два или три года старше, пристально смотрела на меня с невыносимым высокомерием.

Я тихонько спросила:

— Вы дети Парриса?

Ответила мне старшая девочка:

— Она Бетси Паррис. Я Абигайль Вильямс, племянница пастора.

У меня не было детства. Тень виселицы моей матери омрачила все годы, которые должны были быть посвящены играм и беззаботности. По причинам, которые, несомненно, отличались от моих, Бетси Паррис и Абигайль Вильямс, как я догадалась, тоже оказались лишены детства, не познали мягкости и легкости, составляющих его суть. Я догадалась, что им никогда не пели колыбельные, не рассказывали сказки, наполняющие воображение волшебными и добрыми приключениями. И испытала к ним глубокую жалость, особенно к маленькой Бетси, такой очаровательной и такой беззащитной. Я предложила:

— Пойдемте, я уложу вас в кровать. Вы выглядите такими усталыми.

Другая девочка, Абигайль, решительно воспротивилась:

— Что вы такое говорите? Она еще не прочитала молитвы. Вы что, хотите, чтобы мой дядя ее выпорол?

Пожав плечами, я отправилась дальше.

На кормовой палубе сидел Джон Индеец, окруженный восхищенными матросами, и вытворял бог знает какую ерунду. Странное дело: Джон

Индеец, который еще недавно изошел на слезы, когда очертания нашего нежно любимого Барбадоса растворились в тумане, уже утешился. Он выполнял для матросов тысячу заданий, таким образом зарабатывая монеты, с которыми вмешивался в их игры, попивая их ром. Сейчас он учил собравшихся старой песне рабов, удивляя хорошо поставленным голосом:

Могей[22] *эй, Могей эй,*

Петушок уже поет…

Ах! Каким легкомысленным был мужчина, которого выбрало мое тело! Но, возможно, мне самой не понравилось бы, если бы он тоже предавался печали и скорби, подобной той, в какую погрузилась я.

Заметив мое приближение, Джон Индеец поспешно подошел ко мне, оставив на произвол судьбы шумно запротестовавший хор учеников. Взяв меня за руки, он прошептал:

— Уж больно странный человек наш новый хозяин. Неудавшийся коммерсант, с опозданием начинающий жизнь там, где ее оставил…

Я прервала его:

---

[22] Сноски: 22
Город в Буркина-Фасо (б. Верхняя Вольта).

— У меня совсем не лежит душа выслушивать сплетни.

Мы прогулялись по палубе и устроились за штабелем бочонков сахарного тростника, плывших в бостонский порт. Поднялась луна; по яркости это скромное ночное светило не уступало дневному. Я прижалась к Джону Индейцу; наши руки искали тела друг друга, когда доски палубы и бочонки вздрогнули от тяжелых шагов. Это был Сэмюэль Паррис. При виде позы, в которой мы находились, немного крови окрасило его мертвенно-бледные щеки. Он сказал, будто плюнул ядом:

— Несомненно, цвет вашей кожи является признаком вашего проклятия. В то же время, пока вы живете под моей крышей, будете себя вести, как положено христианам! Живо на молитву!

Мы повиновались.

Госпожа Паррис и обе девочки, Абигайль и Бетси, уже стояли на коленях в одной из кают. Оставшись стоять, хозяин поднял глаза к потолку и принялся голосить. Его речь я не особенно понимала, за исключением уже слышанных столько раз слов: грех, зло, Лукавый, Сатана, демон… Самым тяжелым из всего этого оказалась исповедь. Каждый должен был громко признаться, какие грехи совершил за день; я услышала, как бедные

дети лепечут:

— Я смотрела, как Джон Индеец танцует на палубе.

— Я сняла чепец и позволила солнцу погладить меня по волосам.

В своей обычной манере Джон Индеец исповедался со всеми ужимками и вышел сухим из воды, так как хозяин ограничился тем, что сказал ему:

— Бог прощает тебя, Джон Индеец! Иди и не греши больше!

Когда подошла моя очередь, меня охватил гнев, без сомнения, являющийся обратной стороной страха, который внушал мне Сэмюэль Паррис. Я твердо произнесла:

— Зачем исповедоваться? То, что происходит у меня в голове и в сердце, никого не касается.

Он меня ударил.

Рука, сухая и резкая, ударила по моему рту и кровь залила его. При виде этой красной струйки госпожа Паррис нашла в себе силы; она выпрямилась и с яростью заявила:

— Сэмюэль, вы не имеете права!..

Он ударил и жену. Лицо ее тоже обагрилось кровью, скрепившей наш союз. Иногда засушливая пустынная земля порождает цветок пленительной окраски, освещающий и наполняющий

ароматом местность вокруг. Только с этим я могу сравнить дружбу, которая не замедлила соединить меня с госпожой Паррис и маленькой Бетси. Вместе мы изобретали тысячу хитростей, чтобы встретиться в отсутствие демона, которым и был преподобный Паррис. Я расчесывала их длинные светлые волосы, которые, освобожденные из плена косичек и пучков, ниспадали им до лодыжек. Я натирала маслом, рецепт которого передала мне Ман Яя, их бледную болезненную кожу, которая понемногу золотилась у меня под руками.

Однажды, растирая хозяйку Паррис, я принялась расспрашивать ее:

— Что говорит ваш жестокий муж по поводу изменений вашего тела?

Она рассмеялась.

— Моя бедная Титуба, каким образом ты хочешь, чтобы он это заметил?

Я подняла глаза к небу.

— Я бы сказала, кому, как не ему, это сделать!

Она засмеялась еще сильнее.

— Если бы ты знала! Он берет меня, не сняв ни мою одежду, ни свою, спеша покончить с этим отвратительным занятием.

Я возмутилась:

— Отвратительным? Для меня это самое пре-

красное занятие на свете.

Она оттолкнула мою руку, стоило мне начать ей это объяснять.

— Да разве не оно способствует сохранению жизни?

Ее глаза наполнились ужасом.

— Замолчи, замолчи! Это наследие Сатаны в нас.

Она казалась такой потрясенной, что я не стала настаивать. Как правило, наши разговоры с госпожой Паррис не принимали такой оборот. Она находила удовольствие в сказках, восхищавших Бетси: о пауке Ананси, о заложенных людях, о сукуньянах, о звере Манн Ибе, скачущем на трехногой лошади. Она слушала меня с тем же воодушевлением, что и дочь. В ее прекрасных глазах орехового цвета вспыхивали звездочки счастья, и она переспрашивала:

— Неужели так бывает, Титуба? Человеческое существо может оставить свое тело и мысленно прогуляться в место, находящееся на расстоянии в несколько миль?

Я согласно кивала.

— Да, такое возможно!

Она настаивала:

— Без сомнения, чтобы переместиться, нужна

ручка от метлы?

Я громко смеялась.

— Что за глупая мысль? Что, по-вашему, нужно делать с ручкой от метлы?

Госпожа Паррис оставалась в замешательстве.

Мне не нравилось, когда наше уединение с Бетси нарушала юная Абигайль. В этом ребенке было что-то такое, от чего мне делалось очень не по себе. Мне не нравилось, как она слушала, как смотрела на меня — так, словно я была чем-то чудовищным и в то же время привлекательным! Властным тоном она требовала уточнять буквально всё.

— Какие слова должны произносить отданные в залог люди перед тем, как покинуть тело?

— Каким образом сукуньяны пьют кровь своих жертв?

Я отвечала уклончиво. По правде говоря, я боялась, как бы она не рассказала об этих разговорах своему дяде Сэмюэлю Паррису и чтобы свет удовольствия, который они внесли в нашу жизнь, не погас. Ничего такого Абигайль не сделала. Она чрезвычайно умело все утаивала. Никогда во время вечерних молитв даже не намекнула на то, что в глазах Парриса могло показаться одним из непростительных грехов. Она ограничивалась

признаниями:

— Я стояла на палубе, чтобы на меня попадали брызги воды. Я выбросила в море половину своей овсянки.

И Сэмюэль Паррис отпускал ей грехи:

— Иди, Абигайль Вильямс, и не греши больше!

Постепенно я принимала ее в нашу тесную компанию, только ради Бетси.

Однажды утром, когда я подавала госпоже Паррис чай, который ее желудок переносил лучше овсянки, она мягко попросила:

— Не рассказывай детям все эти истории. Они побуждают их мечтать, а мечта — это нехорошо.

Я пожала плечами:

— С чего бы мечте не быть хорошей? Разве она не лучше реальности?

Госпожа Паррис не ответила и некоторое время хранила молчание. Некоторое время спустя она снова заговорила:

— Титуба, тебе не кажется, что быть женщиной — это проклятие?

Я разозлилась:

— Госпожа Паррис, вы только и говорите, что о проклятии! Что может быть красивее женского тела! Особенно когда его облагораживает желание мужчины…

Она воскликнула:

— Замолчи! Замолчи!

Это была наша единственная ссора. По правде говоря, причину ее я не поняла.

Однажды утром мы прибыли в Бостон.

Я сказала, что это было утро, однако цвет ничего похожего не обозначал. С неба ниспадала сероватая завеса, окутывая своими складками лес корабельных мачт, груды товаров на набережной, тяжеловесные силуэты складов. Дул ледяной ветер; мы с Джоном Индейцем дрожали в наших хлопковых одежках. То же происходило с госпожой Паррис и девочками, несмотря на их шали. Один хозяин высоко держал голову в черной шляпе с широким полями; в грязном размытом свете он походил на призрак. Мы спустились на набережную, Джон Индеец изнемогал под весом чемоданов, а Сэмюэль Паррис в это время соизволил предложить жене опереться на его руку. Я же взяла за руки девочек.

Никогда раньше я и представить себе не могла, что существует такой город, как Бостон: заполненный такими высокими домами, настолько многочисленной толпой, снующей по мощеным улицам, которые запружены телегами с впряженными в них быками или лошадьми. Заметив

множество лиц того же цвета, что и мое, я поняла, что и здесь дети Африки платят дань несчастью.

Судя по всему, Сэмюэль Паррис прекрасно знал эти места, так как ни разу не остановился, чтобы спросить дорогу. Промокнув до костей, мы, наконец, подошли к деревянному двухэтажному дому, фасад которого был обшит более светлыми балками, выложенными в виде плетеного узора. Выпустив руку жены, Сэмюэль Паррис, словно речь шла о самом великолепном из особняков, произнес:

— Это здесь!

Внутри пахло сыростью и затхлостью. При звуке наших шагов удрали две крысы; одновременно с этим спавший в золе и пыли черный кот лениво поднялся и перешел в соседнюю комнату. Вряд ли я могла бы описать действие, которое этот несчастный кот произвел на детей, Элизабет и Сэмюэля Парриса. Последний поспешил схватить молитвенник и принялся читать бесконечную молитву. Немного успокоившись, он выпрямился и стал отдавать приказания:

— Титуба, прибрать эту комнату. Потом приготовить постели. Джон Индеец, со мной покупать дрова!

Джон Индеец снова принялся за свои ужимки,

которые я так сильно ненавидела:

— Выйти, хозяин! Там такой дождь и ветер! Вы же не хотите вскоре потратиться на доски для моего гроба?

Ни слова не говоря, Сэмюэль Паррис расстегнул свой широкий плащ из черной ткани и бросил ему.

Едва мужчины вышли, как Абигайль спросила задушенным голосом:

— Тетя, это был Лукавый, да?

Лицо Элизабет Паррис исказилось от страха:

— Замолчи!

Заинтригованная, я спросила:

— Но о чем вы говорите?

— О коте! О черном коте!

— О том, которого вы сейчас собираетесь здесь искать? Это всего лишь зверь, которому наш приход причинил немало волнения! Почему вы без конца говорите о Лукавом? Невидимые вокруг нас не причиняют нам страданий, если мы сами не побуждаем их к этому. А в таком возрасте, как ваш, этого, несомненно, не следует бояться!

Абигайль вскрикнула:

— Лгунья! Бедная невежественная негритянка! Лукавый мучит нас всех. Мы все его добыча. Мы все будем прокляты, да, тетушка?

Увидев, какое воздействие этот разговор оказал на госпожу Паррис и особенно на несчастную Бетси, я быстро его прервала.

Было ли это последствием разговора или царившего в доме холода, несмотря на огонь, зажженный Джоном Индейцем, но в ту ночь здоровье госпожи Паррис ухудшилось. Около полуночи Сэмюэль Паррис пришел разбудить меня:

— Полагаю, она скоро скончается.

Никаких чувств в голосе. Деловой безразличный тон!

Чтобы моя бедная добрая Элизабет умерла? Оставив детей одних со своим чудовищем-мужем? Чтобы мой жертвенный агнец умер, не узнав, что смерть — это всего лишь дверь, которую сведущие умеют держать широко открытой? Я поспешила спрыгнуть с кровати, торопясь на помощь Элизабет. Но Сэмюэль Паррис остановил меня:

— Оденься!

Жалкий мужчина, у постели умирающей жены думающий о благопристойности!

До сих пор, заботясь об Элизабет Паррис, я не взывала ни к каким сверхъестественным силам. Довольствовалась тем, что держала ее в тепле и буквально силой заставляла употреблять горя-

чие напитки. Единственная вольность, которую я позволила себе, — это потихоньку добавлять в травяные отвары немного рома. В ту ночь же я решила воспользоваться своим талантом.

Однако, чтобы практиковать свое искусство, мне не хватало нескольких компонентов, без которых не обойтись. Дерево-алтарь для каждого из невидимых. Приправы к их любимым кушаньям. Целебные растения и корни.

Что мне было делать в этой незнакомой и неласковой стране?

Я решила прибегнуть к уловкам.

Клен, листья которого краснеют, был назначен сырным деревом. Острые блестящие листья падуба заменили гвинейскую траву. Лишенные запаха желтые цветы я взяла вместо салапертюи — лекарства от всех болезней тела, растущего только на склонах холмов, на полпути к вершине. Остальное довершили мои молитвы.

Утром на щеки госпожи Элизабет Паррис вернулись краски. Она попросила немного воды, чтобы попить. К середине дня ей удалось и поесть. Когда наступил вечер, она задремала, как новорожденная.

Три дня спустя она боязливо улыбнулась мне, словно солнце, проглядывающее сквозь слуховое

окно.

— Спасибо, Титуба! Ты спасла мне жизнь!

7

Мы прожили в Бостоне год: Сэмюэль Паррис ждал, что единоверцы, пуритане, предложат ему церковный приход. Увы! Предложений не поступало. Полагаю, дело было в самом Паррисе. Какими бы мрачными фанатиками ни были те, кто разделял его веру, до него им было далеко. Его высокая фигура, буквально излучающая гнев, наставления и обличения, так и сыплющиеся из его рта, наводили на них страх. Небольшие сбережения, которые он вернул себе после вылазки в мир Барбадоса, растаяли, будто свеча. Мы находились в тяжелейшем положении. Иногда по целым дням мы не ели ничего, кроме сушеных яблок. У нас не было дров, чтобы отапливать дом, и мы дрожали от холода.

Именно тогда Джону Индейцу удалось нанять-ся в таверну под названием «Черная лошадь». Его обязанностью было поддерживать огонь в громадных каминах, перед которыми грелись постояльцы, подметать и выносить отбросы. Он возвращался ко мне на рассвете, пропитанный вонью бренди или стаута, но его одежда оттопыривалась от спрятанной под ней еды.

Джон Индеец рассказывал мне сонным тягучим голосом:

— Моя королева, если бы ты знала, что за жизнь ведется в этом городе в двух шагах от таких церковных цензоров, как наш Сэмюэль Паррис, ты бы не поверила ни глазам, ни ушам. Шлюхи, матросы, кольцо в ухе, капитаны с жирными волосами под треуголками и даже джентльмены, знающие Библию, у которых дома жена и дети. Все пьют, сквернословят, развратничают. Ох! Ты даже представить себе не можешь все лицемерие мира белых.

Я укладывала его в кровать, а он все еще болтал.

Верный своему характеру, Джон Индеец не замедлил завести себе многочисленных друзей, разговоры с которыми мне и пересказывал. Он поведал, что торговля людьми все усиливается. Целыми тысячами наших вырывают из Африки. Он рассказал, что мы не единственный народ, который поработили белые. Так же они поступили и с индейцами — первыми жителями как Америки, так и нашего дорогого Барбадоса.

Я слушала его с изумлением и возмущением.

— В «Черной лошади» работают двое индейцев. Видела бы ты, как с ними обращаются! Они рас-

сказали мне, как их лишили земель, как белые истребили их стада и распространили среди них «огненную воду», которая за короткое время сводит человека в могилу. Ох! Белые!

Его истории озадачивали меня, я пыталась понять:

— Может быть, это потому, что они сделали столько зла себе подобным, или они убеждены, что прокляты, раз у них черная или красная кожа?

Джон был не в состоянии ответить на мои многочисленные вопросы, которые, впрочем, не занимали его ум. Из нас двоих он, несомненно, был менее несчастен!

Безусловно, Сэмюэль Паррис не поверял мне свои мысли, но при виде него, запертого в доме, словно зверь в клетке, без конца повторявшего молитвы или листавшего свою страшную книгу, мне было легко догадаться, о чем он думает! Его постоянное присутствие действовало на нас как горькое зелье. Больше незаметного обмена нежностями, больше рассказанных второпях сказок, больше песен, промурлыканных потихоньку! Вместо этого он вбил себе в голову обучить Бетси письму и воспользовался потрясающей азбукой:

А – в падение Адама

Мы все вовлечены.
В – одна лишь Библия
Может спасти наши жизни.
С – кошка играет,
Но после того, как сдерут шкуру…

И так далее! Несчастная Бетси, и без того хрупкая и впечатлительная, бледнела и вздрагивала.

Только начиная с середины апреля, когда погода улучшилась, он завел себе привычку после обеда выходить на непродолжительную прогулку. Я пользовалась этим, чтобы увести детей в садик, разбитый за домом. Какие там начинались игры! Какие неистовые хороводы! Я снимала с девочек отвратительные чепцы, превращавшие их в старушек, развязывала пояса, чтобы кровь согрелась и чтобы их маленькие тела покрылись росой здорового пота. Стоя на пороге, Элизабет Паррис слабым голосом советовала мне:

— Осторожно, Титуба! Только чтобы они не танцевали! Только чтобы они не танцевали!

Однако через минуту она противоречила себе и с горячностью отбивала такт во время наших антраша.

Мне было позволено водить детей до самого Лонг Уорфа, где мы смотрели на морские суда. По

другую сторону этой бесконечной водной глади находилась крохотная точка — Барбадос.

Странная это штука — любовь к родине! Мы носим ее в себе, будто кровь, будто потроха. Нам достаточно оказаться разлученными с родной землей, чтобы ощутить боль, исходящую из самой глубины нашего существа, при этом никогда не ослабевающую. Я будто снова видела плантацию Дарнелла Дэвиса: на вершине холма — горделивый хозяйский дом с рядами колонн, улицы из хижин рабов, кишащих страданиями и лихорадочной оживленностью, детей с раздутыми животами, преждевременно состарившихся женщин, покалеченных мужчин. Эта безрадостная картина, которую я потеряла, становилась для меня драгоценной; слезы сами начинали течь по щекам.

Девочки же, нечувствительные к моим переживаниям, играли в лужах соленой воды, толкались, падали на спину между бухт канатов. Я не могла удержаться, чтобы не представить себе, какое выражение лица было бы у Сэмюэля Парриса, случись ему присутствовать при подобных сценах. Вся жизненная сила Бетси и Абигайль, подавляемая изо дня в день, час за часом, выплескивалась наружу; казалось, словно ими и в самом

деле завладел Лукавый, которого все так боялись. Более необузданной и жестокой была Абигайль, и я в очередной раз восхищалась ее даром скрытности. Едва мы вернемся домой, не она ли будет в присутствии дяди как нельзя более безгласной и уверенной? Не она ли повторит за ним слова из святой книги? И разве не будет малейший ее поступок облачен в броню сдержанности?

Однажды, вернувшись с Лонг Уорфа, мы стали свидетелями зрелища, ужасное впечатление от которого так и не изгладилось в моей памяти. Мы выходили на Фронт-стрит, когда увидели площадь, расположенную между тюрьмой, зданием суда и мэрией, всю черную от народа. Там должна была состояться казнь. Толпа спешила к помосту, где стояла виселица. Вокруг суетились зловещего вида мужчины в шляпах с широкими полями. Приблизившись, мы увидели женщину, совсем старуху, с веревкой на шее. Внезапно один мужчина отбросил деревянный чурбак, на котором стояли ее ноги. Тело несчастной изогнулось дугой. Послышался ужасающий крик, и голова упала в сторону.

Вскрикнув, я сама упала на колени посреди возбужденной, любопытствующей, почти радостной толпы.

Как будто я была вынуждена снова увидеть казнь своей матери! Нет, там покачивалась не старуха! Это была Абена во цвете лет, на пике своей красоты! Да, это была она, мне снова было шесть лет! И жизнь снова началась с того мгновения!

Чем больше я кричала, тем больше испытывала сильнейшее желание кричать. Желание исторгнуть из себя свою боль, возмущение, свой бессильный гнев. Что это за мир, сделавший из меня рабыню, сироту, изгоя? Что это за мир, разлучивший меня с близкими? Вынуждающий жить среди людей, которые не говорят на моем языке, не исповедуют мою религию, в этой недоброй неприветливой стране?

Бетси поспешила ко мне и сжала своими худенькими руками:

— Замолчи! Ой, замолчи, Титуба!

Абигайль, уже успевшая побродить в толпе, то выспрашивая объяснения у одних, то у других, вернулась к нам и холодно заявила:

— Да, замолчи! Она получила то, чего заслуживала: это была ведьма. Она околдовала детей из почтенной семьи!

Мне удалось встать и направиться к дому. Весь город только и говорил, что о казни. Те, кто ви-

дел, рассказывали тем, кто не видел, как старая Гловер закричала, увидев смерть, как собака, которая воет на луну, как ее душа вылетела в виде летучей мыши, в то время как отвратительная жижа, свидетельствующая о зловредности ее натуры, струйками стекала у нее по ногам. Я же ничего такого не видела. Я присутствовала при зрелище полнейшего варварства.

Именно после этого я точно поняла, что ношу ребенка и что желаю его убить.

Единственными мгновениями счастья в моем печальном существовании, кроме поцелуев, которые украдкой дарила мне Бетси, и секретов, которыми я обменивалась с Элизабет Паррис, были те, что я проводила с Джоном Индейцем.

Перепачканный, дрожавший от холода, полуживой от усталости, мой муж каждую ночь занимался со мной любовью. Так как мы спали в закутке, прилегавшем к спальне господина и госпожи Паррис, нам приходилось следить, чтобы не издать ни вздоха, ни стона, по которому можно было бы понять, чем мы сейчас заняты. Странное дело, наши бурные соития от этого лишь обрели больше остроты.

Для рабыни материнство не становится счастьем. Оно означает вытолкнуть в мир рабства и

мерзости крохотное невинное существо, участь которого невозможно изменить. В детстве мне случалось видеть, как рабыни убивают новорожденных, воткнув длинную колючку в еще желеобразный «родничок» на их голове, разрезая пуповину отравленным лезвием или оставив на ночь там, где ходят разозленные духи. В течение всего детства я слышала, как рабыни обмениваются рецептами зелий, клизм, впрыскиваний, которые навсегда делают их матки бесплодными, превращая их в гробницы, украшенные алыми саванами.

На Барбадосе, где каждое растение было знакомым и родным, мне бы не составило никакого труда избавиться от бремени. Но здесь, в Бостоне, что делать?

Менее чем в полумиле за Бостоном произрастали густые леса, которые я решила разведать. Однажды днем мне удалось выскользнуть из дома, оставив подле госпожи Паррис Бетси, сражавшуюся со своей ужасной азбукой, и Абигайль, пальцы которой были заняты вышиванием, но ум, очевидно, пребывал где-то в другом месте.

Оказавшись на улице, я с удивлением заметила, что вокруг кое-что изменилось к лучшему. Деревья, так долго лишенные листьев и походившие

на торчащие во все стороны коклюшки, украсились бутонами. Зеленеющие луга, бесконечные, словно море в безветренную погоду, были усеяны цветами.

Только я собралась войти в лес, как меня окликнул всадник — черная негнущаяся фигура на лошади, силуэт, лицо скрыто в тени шляпы.

— Эй, негритянка! Ты что, не боишься индейцев?

Индейцев? Этих «дикарей» я боялась меньше, чем цивилизованных созданий, рядом с которыми я жила, — тех, что вешают старух.

Я склонилась над пахучим кустом, очень похожим на лимонник, обладающий многочисленными полезными свойствами, когда услышала, как меня окликнули по имени:

— Титуба!

Я подпрыгнула. Это была старуха с лицом бесформенным, словно буханка недопеченного хлеба, но вместе с тем довольно приятным.

Я удивилась:

— Откуда ты знаешь мое имя?

Старуха таинственно улыбнулась:

— Я видела, как ты родилась!

Мое удивление возросло:

— Ты с Барбадоса?

Ее улыбка обозначилась еще сильнее:

— Нет, я никогда не покидала Бостон. Прибыла с первыми колонистами и с тех пор так при них и оставалась. Но хватит болтовни! Если слишком задержишься, Сэмюэль Паррис заметит, что ты уходила из дома, и ты проведешь не самые лучшие четверть часа!

Я упорно стояла на своем:

— Я тебя не знаю. Чего ты от меня хочешь?

Она заковыляла в глубину леса, а так как я продолжала стоять на месте, обернулась ко мне и бросила:

— Не будь дурой: я подруга Ман Яя! Мое имя Джуда Уайт!

Старая Джуда сообщила мне названия каждого растения и его свойства. Я мысленно отметила для себя несколько рецептов, и она добавила:

«Чтобы избавиться от бородавок, надо протереть их живой жабой, пока ее кожа не растворит их.

Зимой, чтобы предупредить недуги, вызванные холодом, пить настой болиголова. Обрати внимание: сок смертельно ядовит и может быть использован для других целей.

Чтобы избежать артрита, носить на безымянном пальце левой руки кольцо из сырой

картофелины.

Все раны можно вылечить пластырями из капустных листьев и склянками с перетертой сырой репой.

В случае острого бронхита положить больному на грудь кожу черного кота.

При зубной боли: если есть возможность, пожевать табачные листья. То же сделать, если заболит ухо.

При любых расстройствах желудка трижды в день пить настойку ежевики».

Я вернулась в Бостон немного приободренная. Я научилась видеть друзей в созданиях, на которых раньше бы и внимания не обратила: коте с черной шерстью, сове, божьей коровке и дрозде-пересмешнике.

Снова и снова я мысленно повторяла слова Джуды: «Что стало бы с этим миром без нас? А? Что стало бы? Люди ненавидят нас, но в то же время мы даем им то, без чего их жизнь была бы грустной и ограниченной. Благодаря нам они могут менять настоящее, а иногда и читать будущее. Благодаря нам они могут надеяться. Титуба, мы — соль земли».

Той же ночью поток черной крови вынес ребенка у меня из матки. Увидев, как он бьет ручками,

словно обезумевший головастик, я расплакалась. Джон Индеец, которого я не посвятила в свою тайну, решил, что это новый удар судьбы, и тоже плакал. По правде говоря, он был не совсем трезв, так как опустошил много кружек стаута вместе с матросами, посещавшими таверну «Черная лошадь».

— Моя королева! Вот так и теряешь опору в старости! На что нам будет опереться в этой стране, где не бывает лета, когда у нас обоих будет по горбу на спине?

Было тяжело прийти в себя после убийства своего ребенка. Я знала, что поступила правильно. В то же время образ маленького личика, настоящих очертаний которого я никогда не узнаю, снова и снова меня преследовал. По странному заблуждению мне казалось, что крик, который испустила старая Гловер, устремляясь в коридор смерти, раздавался из горла моего ребенка, казненного тем же обществом, осужденного теми же судьями. Бетси и Элизабет Паррис, заметив мое душевное состояние, стали относиться ко мне с удвоенной добротой и заботой, которые в другое время не замедлили бы привлечь к себе внимание Сэмюэля Парриса. Хозяин же постоянно пребывал во все более мрачном расположении духа, так как

дела у него шли все хуже и хуже. Единственные деньги, прибывавшие в дом, были теми, что зарабатывал Джон Индеец, заставляя пламя гудеть в дымоходах каминов таверны «Черная лошадь». Поэтому мы буквально умирали от голода. Лица девочек уменьшались, одежда становилась для них чересчур свободной.

Наступило лето.

Солнце стало освещать серые и голубые крыши Бостона. Оно увешало ветки деревьев листьями. Наполнило морскую воду длинными огненными иглами. Несмотря на печальное состояние нашей жизни, оно заставляло кровь плясать в наших жилах.

За несколько недель до этого Сэмюэль Паррис мрачным голосом объявил нам, что согласился принять приход и мы скоро уезжаем в деревню Салем. Примерно в двадцати милях от Бостона. Джон Индеец, который, как обычно, был в курсе всего, объяснил мне, почему Сэмюэль Паррис выказал так мало воодушевления. Деревня Салем пользовалась крайне скверной репутацией. Уже два пастора — преподобный Джеймс Бейли и преподобный Джордж Берроуз — были изгнаны из-за враждебности значительной части прихожан, которые отказывались брать их на содержание.

Годовое жалование в шестьдесят шесть ливров лишь покрывало расходы на пропитание, и, что немаловажно, дровами пастора не снабжали, а зимы в лесу довольно суровые. К тому же во всех окрестностях Салема жили индейцы — жестокие варвары, полные решимости снять скальп с головы любого, кто отважится оказаться слишком близко.

— Наш хозяин не закончил обучение…

— Обучение?

— Да, теологическое, чтобы стать пастором. Тем не менее он хочет, чтобы с ним обращались как с преподобным Инкрисом Мэзером или Джоном Коттоном собственной персоной.

— Кто эти люди?

Джон Индеец смутился:

— Не знаю, любовь моя! Я только слышал, как упоминали их имена.

Мы провели в Бостоне еще несколько долгих недель. У меня было время записать себе главные наставления Джуды Уайт.

«Перед тем как занять дом или сразу же после того, как это будет сделано, положить в каждом углу ветви омелы и листья майорана. Подмести пыль с запада на восток и сжечь до последней пылинки, после чего развеять пепел снаружи.

Обрызгать полы свежей мочой, при этом действуя исключительно левой рукой.

На закате сжечь веточки индийской конопли, перемешанные с крупной солью.

И, что особенно важно, устроить сад и собрать там все необходимые целебные травы. За неимением такового выращивать их в наполненных землей коробках. Не забывать плевать на них четыре раза по утрам сразу после пробуждения».

Не скрою, в большинстве случаев все это казалось мне каким-то ребячеством. На Антильских островах наша наука куда благороднее и больше опирается на силы, чем на вещи. Но, в конце концов, как советовала мне Ман Яя, «если ты прибыла в страну калек — ползай по земле!»

8

Плач по моему потерянному ребенку:

Мой лунный камень упал в воду,
В воду реки,
И мои пальцы не могут его найти.
Бедная я, бедная!
Лунный камень упал.
Сидя на скале у реки
Плачу и горюю.
Ах! Нежный сверкающий камень,
Ты мерцаешь глубоко под водой.
Проходил мимо охотник
Со стрелами и колчаном.
Красавица, красавица, почему ты плачешь?
Я плачу, потому что мой лунный камень
Лежит на дне реки.
Красавица, красавица, если причина только в этом,

Я сейчас тебе помогу.

Нырнул охотник и утонул.

Я научила Бетси этой кантилене, и мы тихонько напевали ее во время наших редких встреч с глазу на глаз. Ее милый голосок, нежный и жалобный, на удивление хорошо дополнял мой.

Однажды, к своему удивлению, я услышала, что и Абигайль тоже напевает! Сперва я хотела отругать Бетси, настоятельно посоветовав ей держать при себе то, чему я ее учу, но затем спохватилась. Разве Абигайль не единственная ее подруга по играм? Разве она не ребенок? Ребенок не может быть опасен.

9

Деревня Салем, которую ни в коем случае не следует путать с городом под тем же названием, что показалось мне довольно остроумным, была вырезана в лесу, будто проплешина в спутанных волосах.

Сэмюэль Паррис нанял трех лошадей и телегу; мы представляли собой довольно жалкое зрелище! К счастью, не нашлось никого, кто мог бы нас встретить. Должно быть, в то время мужчины работали в поле, а женщины понесли им еду и питье. Сэмюэль Паррис показал нам молитвенный дом — огромное строение, мощная дверь которого была сделана из соединенных между собой балок, — и мы продолжили путь. Сколько жителей насчитывала деревня Салем? Несомненно, едва ли две тысячи. По сравнению с Бостоном это место казалось настоящей дырой. Главную улицу беспечно пересекали коровы, позвякивая колокольчиками, висевшими у каждой на шее. Я с удивлением заметила, что к рогам прикреплены красные тряпочки. Из одного загона пахнуло зловонием полудюжины свиней, валявшихся в топкой черноватой грязи.

Мы прибыли к предназначенному нам дому. Чуть покосившись, он стоял посреди огромного сада, полностью заросшего сорняками. Дом, по обеим сторонам которого, будто восковые свечи, стояли два черных клена, резко, даже враждебно выделялся на фоне сада. Сэмюэль Паррис помог сойти с лошади своей бедной жене, для которой эта поездка стала серьезным испытанием. Я спустила на землю маленькую Бетси, а Абигайль, не ожидая ничьей помощи, спрыгнула на землю и поспешила к входной двери. Сэмюэль Паррис остановил ее на бегу и рассердился:

— Это еще что такое, Абигайль? В тебя что, демон вселился?

Несмотря на то что я испытывала к Абигайль не так много симпатии, я буквально обмерла, увидев, какое воздействие произвела на нее эта фраза.

Внутреннее убранство дома полностью соответствовало его наружности. Мрачное и неприветливое. В то же время чья-то заботливая рука зажгла огонь в каждом камине, языки пламени радостно пожирали куски дерева. Элизабет Паррис спросила:

— Сколько здесь комнат? Титуба, пойди посмотри, какая из них лучше расположена!

На это Сэмюэль Паррис тоже нашел что возразить. Буквально раздавив Элизабет тяжелым взглядом, он бросил:

— Разве единственная хорошо расположенная комната — это не гроб, во мраке которого каждый из нас однажды упокоится?

Затем он упал на колени, чтобы поблагодарить господа за то, что защитил нас от волков и других хищных зверей, которыми полны леса, отделяющие Салем от Бостона. Когда эта бесконечная молитва завершилась, с жалобным скрипом, заставившим всех подпрыгнуть, открылась входная дверь. В комнату проскользнула женщина, мрачно одетая по пуританской моде, но с улыбающимся лицом:

— Я сестра Мэри Сибли. Это я разожгла огонь. Еще я вам оставила на кухне кусок говядины, моркови, репу и дюжину яиц.

Едва поблагодарив ее, Сэмюэль Паррис перешел к делу:

— Неужели вы, женщина, представляете конгрегацию?

Мэри Сибли вздохнула.

— Четвертая заповедь предписывает нам работать в поте лица. Мужчины в полях. Когда они вернутся, дьякон Ингерсолл, сержант Томас Пат-

нам, капитан Уолкотт и еще несколько человек придут с вами поздороваться.

После этого я направилась на кухню, думая о бедных детских желудках и собираясь приготовить кусок соленой говядины, принести который, с счастью, осенило сестру Мэри Сибли. Некоторое время спустя Мэри вошла следом за мной и принялась меня разглядывать:

— Как это у Сэмюэля Парриса могут быть в услужении негр и негритянка?

В ее голосе слышалось больше наивного любопытства, чем злости. Поэтому я мягко ответила:

— Разве этот вопрос надо задать не ему самому?

Немного помолчав, она пришла к заключению:

— Это так странно, пастор!

Через некоторое время она вернулась к своим обязанностям:

— Элизабет Паррис такая бледная! Чем она больна?

Я произнесла:

— Никто точно не знает, что у нее за болезнь.

— Есть опасения, что пребывание в этом доме не пойдет ей на пользу!

Она понизила голос:

— На кровати в верхней комнате умерли две женщины. Мэри Бейли, жена первого пастора этого прихода, и Джуда Берроуз, жена второго пастора.

Я непроизвольно издала тревожный возглас. Мне было хорошо известно, сколько вреда могут принести живым плохо успокоенные мертвецы. Может быть, мне нужно провести церемонию очищения и предложить этим бедным душам то, чем можно им угодить? К счастью, дом окружен большим садом, где я могла бы гулять в свое удовольствие. Проследив за направлением моего взгляда, Мэри Сибли встревожено произнесла:

— О да, кошки! В Салеме они повсюду. Убивать не перестаем.

И в самом деле, трава буквально кишела кошками. Они мяукали, лежали на спине, подняв жилистые лапы, заканчивающиеся острыми когтями. Несколько недель назад я не нашла бы в этом зрелище ничего сверхъестественного. Теперь же, после наставлений доброй Джуды Уайт, я поняла, что на самом деле меня приветствуют духи этого места. Как же наивны люди с белой кожей, избравшие способ утвердить свою власть посредством такого животного, как кошка! Мы же предпочитаем животных другого масштаба:

например, змею — великолепную рептилию с темными кольцами!

Как только я прибыла в Салем, то сразу же поняла, что никогда не буду здесь счастлива. Я чувствовала, что моя жизнь пройдет здесь через ужасные испытания и что события, которые повлекут за собой неслыханное горе, заставят поседеть все мои волосы!

Когда наступил вечер, с полей вернулись мужчины, и дом наполнился посетителями. Энн Патнам и ее муж Томас — великан в два метра ростом, их дочь Энн, которая сразу же принялась шептаться по углам с Абигайль, Сара Холтон, Джон и Элизабет Проктор, а также множество других, имена которых я не могу перечислить. Я почувствовала, что всех этих людей толкало скорее любопытство, чем симпатия, и что они пришли вынести вердикт пастору, взвесить его, будто на весах, чтобы узнать, какую роль он будет играть в жизни деревни. Сэмюэль Паррис ничего не заметил и показал себя таким, каким обычно и был: отвратительным! Он пожаловался, что в ожидании его прибытия не заготовили целую кучу дров, которые могли бы и сложить в сарае. Он пожаловался, что к его приходу не напилили этих самых дров, лежавших сейчас высокими ку-

чами. Что дом обветшалый, трава в саду высотой по колено, а лягушки устраивают гвалт прямо у него под окнами.

Тем не менее наш переезд в Салем стал причиной счастья, которому — я это знала — суждено стать более чем мимолетным. Дом был настолько просторным, что каждому досталась своя комната. Мы с Джоном Индейцем смогли укрыться под самой крышей в довольно скверной мансарде, потолок которой поддерживали сплетенные гнилые балки. В этом уединении мы могли снова любить друг друга без меры, без удержу, не опасаясь, что нас услышат.

В самый доверительный момент я не удержалась и шепнула:

— Джон Индеец, я боюсь!

Он погладил меня по плечу.

— Что станет с миром, если наши женщины боятся? Да он просто разрушится! Небесный свод упадет, а звезды, которыми он усыпан, смешаются с дорожной пылью. Ты — и вдруг боишься? Чего же?

— Завтрашнего дня, который нас ожидает…

— Спи, моя принцесса! У завтрашнего дня, который нас ожидает, улыбка новорожденного.

Вторым поводом для счастья было то, что, заня-

тый своими обязанностями, Сэмюэль Паррис все время ездил по горам и долинам. Мы видели его лишь на утренних и вечерних молитвах. Дома он был постоянно окружен мужчинами, с которыми ожесточенно спорил на темы, более чем далекие от религии:

— Шестьдесят шесть фунтов моего жалования поступают из взносов жителей деревни пропорционально площади их земель.

— Мне должны быть поставлены дрова для обогрева. В субботний день взносы обязаны заносить на бумагу…

И так далее.

И за его спиной жизнь снова вступала в свои права…

Отныне моя кухня была полна девочек.

Я любила не всех. Особенно я не любила Энн Патнам и ее служаночку примерно такого же возраста, повсюду сопровождавшую ее, — Мерси Льюис. В этих двух девочках было что-то такое, что заставляло меня сомневаться в чистоте детства. В конце концов, разве дети не могут быть защищены от разочарований и нестерпимых желаний старшего возраста? Как бы там ни было, Энн и Мерси неотвратимо воскрешали у меня в памяти рассуждения Сэмюэля Парриса о

присутствии Лукавого в каждом. То же было и с Абигайль. Я не сомневалась в необузданности, которая присутствовала в ней, в силе ее воображения, позволявшей придать особенный оборот малейшим происшествиям, в изобилии наполнявшим день, и в той ненависти — я ничуть не преувеличиваю, — которую она носила в мире взрослых, словно не простив их за то, что те построили гроб из ее юности.

Но даже если я и не любила их, то жалела из-за воскового цвета лица, фигур, щедрых на обещания, но изуродованных, будто деревья, которые садовники изо всех сил стараются сформировать, замедляя рост! В противоположность этому детство каждого из нас — маленьких рабов, хоть и такое горькое, казалось сияющим, освещенным солнцем игр, прогулок, совместных скитаний. Мы запускали в плавание по ручьям плоты из коры сахарного тростника. Мы жарили розовых и желтых рыбок на крестовинах из зеленого дерева. Мы танцевали. И это была такая жалость, от которой я не могла защититься и которая заставляла меня терпеть детей вокруг себя и побуждала скрашивать им жизнь. Я не успокаивалась, пока мне не удавалось заставить кого-то из них громко рассмеяться и выдохнуть:

— Титуба, о, Титуба!

Больше всего они любили истории о заложенных людях. Девочки садились вокруг меня, и я вдыхала резковатый запах их плохо вымытых тел. Они буквально оглушали меня вопросами:

— Титуба, как ты думаешь, в Салеме есть заложенные люди?

Я со смехом кивала:

— Да; и охотно верю, что Сара Гуд — одна из них!

Сара Гуд была женщиной еще молодой, но совершенно сломленной и полунищей; дети боялись ее из-за вонючей трубки, всегда зажатой у нее в зубах, и невнятных речей, что она, не переставая, бормотала себе под нос, будто читая молитвы, понятные ей одной. Положа руку на сердце, даже не считая этого, мне так и казалось! Девочки пищали:

— Ты так думаешь, Титуба? А Сара Осбурн — тоже одна из них?

Сара Осбурн была старухой, в противоположность первой — совсем не нищенкой, наоборот, обеспеченной хозяйкой красивого дома с дубовыми панелями. Она не пользовалась уважением, не знаю, за какую совершенную в юности ошибку.

Я набирала в грудь побольше воздуха и при-

творялась, будто размышляю, предоставляя им томиться от любопытства, а затем торжественно объявляла:

— Возможно!

Абигайль настаивала:

— Ты их видела, и ту и другую, как они без одежды, полностью обнаженные, летают по воздуху? А Элизабет Проктор ты видела? Ты ее видела?

Я напускала на себя строгость, так как госпожа Проктор была одной из лучших женщин деревни, единственная, у кого хватило благородства беседовать со мной о рабстве, о стране, откуда я родом, и об ее жителях.

— Вы прекрасно знаете, что я шучу, Абигайль!

И я отсылала всех прочь. Когда мы с Бетси оставались одни, она тоже спрашивала меня своим тоненьким голоском:

— Титуба, а заложенные люди существуют? Они существуют на самом деле?

Я обнимала ее:

— Какая разница? Разве я здесь не для того, чтобы защитить вас, если они попытаются сделать вам что-нибудь плохое?

Бетси пристально смотрела на меня, и в глубине ее глаз плясали тени, которые я всеми силами старалась развеять.

— Титуба знает слова, которые исцеляют от всех болезней, заживляют все раны и развязывают все узлы.

Несмотря на мои утешения, она молчала, еще сильнее дрожа всем телом. Я еще крепче прижимала Бетси к себе; ее сердце отчаянно билось, будто крылья у птички в клетке, а я повторяла:

— Титуба все может. Титуба все знает. Титуба все видит.

Вскоре круг девочек расширился. С легкой руки Абигайль ко мне в кухню набилась целая толпа здоровенных девиц, с бюстами, натягивающими ткань блузок, у которых — я в этом уверена — кровь уже обагряла бедра через равные промежутки времени. Я не любила их всех. Ни Мэри Уолкотт, ни Элизабет Бут, ни Сюзанну Шелдон. Их глаза выражали все презрение их родителей к людям нашего народа. В то же время девицы нуждались во мне, чтобы добавить специй в безвкусную похлебку своей жизни. И вот, вместо того чтобы упрашивать, они приказывали:

— Титуба, спой нам песенку!

— Титуба, расскажи нам сказку. Нет, нам это не интересно. Расскажи нам про заложенных людей.

Однажды все окончательно испортилось. Крупная Мэри Уолкотт обошла вокруг меня и в конце концов сказала:

— Титуба, это верно, что ты все знаешь, все видишь и все можешь? Значит, ты ведьма?

Я рассердилась, не желая этого скрывать.

— Не употребляйте слов, смысл которых вам неизвестен. Вы хоть знаете, что такое ведьма?

Вмешалась Энн Патнам:

— Конечно, мы знаем! Это женщина, которая заключила сделку с Сатаной. Мэри права, ты ведьма, Титуба? Я вот думаю, что да.

Это было уже слишком! Я выгнала всех этих юных гадюк из своей кухни и продолжала гнать до самой улицы:

— Я не хочу больше вас видеть рядом. Никогда. Никогда.

Когда они разбежались, я поманила к себе маленькую Бетси и принялась ее ругать:

— Почему вы повторяете все, что я вам рассказываю? Теперь видите, как скверно все истолковано?

Она сделалась пунцовой и съежилась в комок, стоя передо мной:

— Прости, Титуба! Я им больше ничего не скажу.

С тех пор как мы поселились в Салеме, Бетси так изменилась! Она стала нервной, раздражительной, могла по любому поводу расплакаться или замереть и таращиться в пустоту широко раскрытыми глазами, каждый величиной с полпенни! В конце концов я забеспокоилась. Не воздействуют ли на эту уязвимую натуру духи двух покойниц, умерших на верхнем этаже? Не должна ли я защитить дитя так же, как ранее защитила мать?

О нет, в моей новой жизни и ее условиях мне не нравилось вообще ничего! С каждым днем мои дурные предчувствия усиливались и становились тяжкими, как ноша, которую невозможно сбросить. С этой тяжестью я ложилась спать. Она давила на меня поверх мускулистого тела Джона Индейца. Утром она утяжеляла мои шаги на лестнице и замедляла движения рук, когда я готовила на завтрак безвкусную кашу.

Я больше не была сама собой.

Чтобы попытаться утешиться, я прибегла к одному средству. Я наполняла водой миску и ставила ее у окна так, чтобы можно было смотреть на нее, поворачиваясь и кружась по кухне. В эту миску я закрывала свой Барбадос. Мне удавалось поместить его туда весь, целиком: волнующиеся под ветром поля сахарного тростника, за кото-

рыми виднеются морские волны, кокосовые пальмы, склоняющиеся по берегам моря, равнины, поросшие миндальными деревьями, сплошь усыпанными красными или темно-зелеными плодами. Если людей я различала плоховато, то прекрасно видела холмы, хижины, мельницы для сахарного тростника и повозки, запряженные быками, которых подгоняли невидимые руки. Я могла разглядеть дома и кладбища хозяев. Все это двигалось на дне моей миски в глубочайшей тишине, но согревало мне сердце.

Иногда Абигайль, Бетси или госпожа Паррис заставали меня за этим созерцанием и удивлялись:

— Но что ты там разглядываешь, Титуба?

Много раз меня так и подмывало поделиться своим секретом с Бетси и госпожой Паррис, которая — я это знала — очень скучала по Барбадосу. Но всякий раз я отказывалась от этого намерения, движимая недавно приобретенной осторожностью, которую обусловливало мое окружение. И потом, спрашивала я себя, можно ли сравнить их скуку и тоску с моими? То, о чем они скучают, — всего лишь удовольствие от более легкой жизни, жизни белых, которых обслуживают предупредительные рабы. Даже несмотря на то что в конце

концов госпожа Паррис потеряла все свое имущество и все надежды, их дни, протекавшие там, были наполнены роскошью и наслаждением. О чем же сожалела я? О редких минутах счастья в рабской жизни. Крошках, падающих с сухого хлеба их дней, крошках, которые для нас — сладости. О мимолетных мгновениях запретных игр. Мы — госпожа Паррис, Бетси и я — не принадлежали к одному миру; вся привязанность, которую я испытывала к ним, не могла этого изменить.

В начале декабря провалы в памяти и головокружения Бетси сделались чрезмерно частыми. Не из-за них ли она была не в состоянии прочесть «Символ веры», получая — как нетрудно понять — от Сэмюэля Парриса выволочки? И вот я решила устроить Бетси ванну, которая заставит ее в некотором смысле родиться заново.

Убедив Бетси поклясться, что она сохранит все в тайне, в сумерках я по самую шею погрузила ее в жидкость, которой придала все свойства околоплодных вод. Чтобы достичь этого, мне понадобилось не менее четырех дней, в течение которых пришлось работать в тяжелых условиях изгнания. Но достигнутым результатом я гордилась. Когда я погружала Бетси в эту горячую ванну, мне казалось, что те же руки, которые

незадолго до того принесли смерть, теперь давали жизнь, и что я смываю с себя убийство своего ребенка. Перед тем, как подержать ее голову под водой, я заставила Бетси повторить слова, которые требовались для обряда, а затем внезапно вытащила из ванны — задыхающуюся, с глазами, полными слез. После этого укутала ее покрасневшее тело большим одеялом и вернула в постель. Она уснула как убитая, крепким сном, которого не знала уже давно, так как каждую ночь по несколько раз звала меня жалобным голоском:

— Титуба, Титуба! Иди сюда!

Незадолго до полуночи, когда я была уверена, что не встречу на улицах ни одной живой души, я вышла чтобы, согласно правилам, вылить воду из ванны на перекрестке.

Как меняется ночь в зависимости от страны, где живешь! У нас ночь — это утроба, в тени которой мы снова становимся бессильными и дрожащими. Но, как ни странно, обострившиеся чувства моментально улавливают мельчайшие шепоты существ. В Салеме ночь была черной стеной враждебности, сквозь которую я собиралась пробиться. Звери, скрывавшиеся на темных деревьях, злобно кричали, когда я проходила мимо, меня преследовало множество неприязненных

взглядов. Я заметила знакомые очертания черной кошки. Странное дело, ей следовало поприветствовать меня и приободрить, но вместо этого она яростно мяукнула и выгнула спину дугой в ясном лунном свете.

Я довольно долго шла до перекрестка Доббин. Добравшись туда, я поставила ведро, которое несла на голове, и вылила его содержимое на побелевшую от изморози землю. В то мгновение, когда последняя капля влаги впиталась в землю, я услышала нечто вроде шуршания в траве на откосе. Я знала, что неподалеку находятся Ман Яя и моя мать Абена. Однако и на этот раз они не появились передо мной; мне пришлось довольствоваться лишь ощущением их молчаливого присутствия.

Вскоре зима окружила Салем окончательно. Снега навалило до самых подоконников. Каждое утро я боролась с ним с помощью горячей воды и соли. Тем не менее мои усилия были напрасны, последнее слово всегда оставалось за снегом. Вскоре солнце уже не соизволяло вставать. Дни потянулись в сумрачной тоске.

10

До того как мы поселились в Салеме, я не воспринимала в полной мере ущерб, который причиняла религия Сэмюэля Парриса, и даже не понимала ее истинной природы. Вообразите себе тесное сообщество мужчин и женщин, подавленных присутствием Лукавого среди них и стремящиеся выследить его во всем. Умирала корова, у ребенка случались судороги, юная девушка запаздывала с познанием менструального потока — все это становилось поводом для бесконечных домыслов. Кто, связанный договором с врагом человеческим, вызвал эти бедствия? Не является ли это виной Бриджит Бишоп, которая два воскресенья подряд не появлялась в молитвенном доме? Или это скорее вина Жиль Кори, в субботний день замеченной за кормлением бродячего животного? Эта пагубная атмосфера отравляла и меня; я замечала, что по любому поводу читаю защитные молитвы и делаю очистительные жесты. Вдобавок у меня имелись вполне определенные причины для беспокойства. В Бриджтауне Сюзанна Эндикотт уже просветила, что в ее глазах цвет моей кожи

является признаком близости к Лукавому. Однако это только вызывало у меня мимолетную улыбку: всего лишь разглагольствования мегеры, которую одиночество и приближающаяся старость делают еще более злобной. В Салеме же подобное убеждение разделяли все.

В окрестностях было два или три чернокожих слуги, не знаю толком, каким образом застрявших там. Мы все считались не просто проклятыми, а явными посланцами Сатаны. Поэтому многие делали из нас козлов отпущения, пытаясь удовлетворить необузданную жажду мести, не вызывая подозрений, давать выход своей злобе и ненависти, при этом прилагая усилия, чтобы творить зло всеми способами. Например, муж, которого все считали верным супругом, только и мечтал о смерти жены. Та же, кого считали добродетельнейшей из жен, была готова продать свою душу и души детей, чтобы уничтожить их отца. Сосед желал погубить соседку, брата, сестру. Дети и те желали покончить с тем или иным родителем самым мучительным способом, каким только возможно. Этот отвратительный запах преступлений, которые буквально жаждали, чтобы их совершили, окончательно превращал меня в другую женщину. Напрасно я вглядыва-

лась в голубую воду в своей миске, мысленно переносясь на берега реки Ормонд; во мне что-то разрушалось — медленно и неотвратимо.

Да, я становилась другой женщиной. Чужой самой себе.

Мое превращение довершил один случай. По всей вероятности, подталкиваемый нуждой в деньгах и невозможностью купить себе лошадь для верховой езды, Сэмюэль Паррис отдал Джона Индейца внаем Дикону Ингерсоллу — помогать в полевых работах. Джон Индеец возвращался ко мне спать только в ночь с пятницы на субботу — канун субботнего дня, когда бог повелевает отдыхать даже неграм. Итак, ночь за ночью я сворачивалась клубком под слишком тонким одеялом в неотапливаемой комнате, задыхаясь от желания, жаждая того, кого сейчас со мной нет. Очень часто, возвращаясь ко мне, Джон Индеец, несмотря на крепкое телосложение, которое до сих пор составляло его счастье, оказывался настолько измотан тем, что работал как вол, что засыпал, едва коснувшись носом моей груди. Полная жалости и возмущения против нашей судьбы, я гладила его по жестким курчавым волосам.

Кто же, кто создал этот мир?

Побуждаемая беспомощностью и отчаянием, я начала лелеять мысль об отмщении. Но как? Я строила планы, с наступлением дня отвергала их, чтобы в сумерках снова начать обдумывать. Я больше ничего не ела. Я больше не пила. Я ходила, словно бездушное тело, завернутая в шаль из скверной шерсти, сопровождаемая одной или двумя черными кошками, несомненно, посланными доброй Джудой Уайт, чтобы напомнить мне, что я не совсем одна. Неудивительно, что жители Салема боялись нас, вид у меня был страшный!

Страшный и отвратительный! Волосы, которые я больше не расчесывала, образовали на моей голове настоящую гриву. Щеки впали, рот непристойно выпятился — напряженный, словно готовый лопнуть на вздувшихся челюстях.

Когда Джон Индеец был со мной, он мягко жаловался:

— Ты совсем не заботишься о себе, жена моя! Раньше ты была лугом, на котором я пасся, теперь же высокие травы твоего лобка заросли до подмышек и почти отпугивают меня.

— Прости меня, Джон Индеец, и продолжай любить, даже если я больше ничего не стою.

Я завела привычку ходить большими шагами

через лес: мне казалось, что, утомляя тело, я утомляю и разум, получая таким образом для себя немного сна. Тропинки были выбелены снегом, а деревья с белыми узловатыми ветвями походили на скелеты. Однажды, войдя на поляну, я почувствовала, будто меня заключили в тюрьму, мраморные стены которой сжимаются вокруг меня. Над головой я увидела крохотный глазок белого перламутрового неба, мне показалось, что здесь я сейчас и закончу свою жизнь, завернутая в этот сверкающий саван. Сможет ли мой разум в таком случае снова найти дорогу на Барбадос? И даже если у него это получится, будет ли он обречен на блуждание, беспомощный, лишенный голосов Ман Яя и моей матери Абены? Я вспомнила их слова: «Ты будешь так далеко; понадобится столько времени, чтобы перейти воду!»

Ах! Мне следовало вести себя более настойчиво, задавая вопросы! Мне следовало заставить их нарушить правила и открыть мне то, о чем я не могла догадаться! В голове, не переставая, крутилась одна мысль: если мое тело следует закону своего вида, то сможет ли отпущенный на свободу разум снова найти дорогу в родную страну?

Мысленно я обращалась к той земле, которую потеряла. Возвращалась к скрытому уродству

ее ран. Я узнавала ее по запаху. Запаху пота, страданий и тяжелого труда. Но, как ни странно, сильный и теплый запах меня успокаивал.

Раз или два, бродя по лесу, я встречала жителей деревни, которые неловко наклонялись над травами и растениями, делая это с вороватыми ужимками, выдававшими намерения их сердец. Меня это очень забавляло. Искусство причинять вред сложное. Если оно опирается на знание растений, то должно быть соединено с властью воздействовать на такие тонкие силы, как воздух; сперва они непокорные, поэтому их нужно заклинать. Не объявляй себя ведьмой, любая желающая!

Однажды, сидя прямо на сверкавшей от инея земле, поплотнее обернув вокруг себя складки юбки, я увидела, как между деревьев с совершенно обезумевшим видом мелькнула маленькая знакомая фигурка. Это была Сара, черная рабыня Джозефа Хендерсона. Заметив меня, она было хотела убежать, но, передумав, подошла.

Я уже говорила, что черных в Салеме хватало; их нещадно заваливали самой тяжелой работой, с ними обращались хуже, чем с домашней скотиной, вместо которой часто использовали.

Джозеф Хендерсон, сам приехавший из Роули,

женился на девушке из семьи Патнам — самой уважаемой в деревне. Может, эта женитьба была и по расчету. В любом случае оплачено это было весьма скудно. По каким-то надуманным причинам пара не получила земли, на которые рассчитывала, и прозябала в нищете. Возможно, поэтому госпожа Присцилла Хендерсон всегда была первой, кто пересекал порог молитвенного дома, той, что раньше всех запевает молитвы, и той, что яростнее всех бьет служанку. Никто больше не удивлялся ни следам побоев, которых на лице Сары становилось все больше, ни запаху чеснока, которым она пыталась их лечить. Упав рядом со мной, она выпалила:

— Титуба, помоги мне!

Я взяла ее за руку — жесткую и заскорузлую, будто плохо обструганное дерево — и спросила:

— Как я могу тебе помочь?

Ее глаза забегали.

— Все знают, что твой дар велик. Помоги мне избавиться от нее.

Немного помолчав, я покачала головой:

— Я не могу сделать того, что твое сердце даже не осмеливается высказать. Та, что передала мне свою науку, научила меня исцелять и умиротворять, а не наносить вред. Однажды, когда я, как ты

сейчас, мечтала о наихудшем, она предостерегла меня: «Не становись как те, кто только и умеет, что творить зло!»

Сара повела тщедушными плечами под скверной шалью, покрывавшей их.

— Учение должно приспосабливаться к обществу. Ты больше не на Барбадосе среди наших несчастных братьев и сестер. Ты среди чудовищ, желающих уничтожить нас.

Слушая все это, я спрашивала себя, кто же сейчас говорит со мной — маленькая Сара или отголосок моих самых тайных мыслей, звучащий в глубокой тишине леса. Отомстить за себя. Отомстить за нас. За меня, за Джона Индейца, за Мэри Блэк, за Сару и за всех остальных. Вызвать пожар, грозу. Сделать белый снежный саван кроваво-красным.

В замешательстве я произнесла:

— Не говори так, Сара! Приходи ко мне на кухню. Если ты голодна, у меня полно сушеных яблок.

Она поднялась на ноги, и презрение в ее взгляде обожгло меня, будто кислота.

Не спеша я вернулась в деревню. Разве Сара не побудила меня изменить мнение о невидимом? Не будет ли лучше провести три ночи в молитве,

взывая изо всех сил:

Перейдите воду, о отцы!
Перейдите воду, о матери!
Я так одинока в этой далекой стране!
Перейдите воду.

Погруженная в мучительные размышления, я, не останавливаясь, почти миновала дом госпожи Ребекки Нурс, но услышала, как меня окликают по имени. В свои семьдесят один госпожа Ребекка Нурс еле ходила; я никогда не видела женщины, которая была бы сильнее парализована болями. Иногда ее ноги настолько опухали, что она не могла пошевелить и пальцем и лежала посреди кровати, словно выброшенный на берег кит, которого иногда можно было увидеть на побережье работорговцев. Не раз дети посылали за мной, и мне всегда удавалось облегчить ее состояние. В тот день старое лицо женщины показалось мне не таким несчастным. Ребекка улыбнулась:

— Дай мне руку, Титуба, чтобы я немного прошлась с тобой.

Я подчинилась. Мы направились по улице, которая вела к центру деревни, еще освещенному бледным солнцем. Я снова погрузилась в мысли о своем трудном и страшном выборе, когда услы-

шала, как Ребекка Нурс бормочет:

— Титуба, ты можешь их наказать? Эти Холтоны снова не стали привязывать своих свиней, и те разорили наш огород.

Несколько мгновений я ничего не понимала. Потом до меня дошло, чего Ребекка ждет. В гневе я отпустила ее руку, оставив, всю перекошенную, стоять у забора.

О нет! Они не сделают из меня такую, как они! Я им не уступлю. Я не стану творить зло!

Через несколько дней Бетси заболела.

Этому я не удивилась. В последние недели я совсем ее забросила, самолюбиво замкнувшись на себе и своих переживаниях. Я даже не помнила, читала ли я утром молитву об ее выздоровлении и давала ли ей целебную микстуру. По правде говоря, я ее почти не видела. Большую часть времени Бетси проводила с Энн Патнам, Мерси Льюис, Мэри Уолкотт и другими. Изгнанные из моей кухни, они теперь запирались в нижнем этаже, чтобы предаваться всевозможным играм, нечистая сущность которых была небезызвестна. Однажды Абигайль показала мне колоду Таро, которую она бог знает как раздобыла, и спросила:

— Ты веришь, что с помощью этого можно читать будущее?

Я пожала плечами:

— Моя бедная Абигайль, это всего лишь раскрашенные кусочки картона, разве для этого их достаточно?

Тогда она взмахнула рукой, показав на чуть порозовевшую ладонь, где во впадине виднелся рисунок линий.

— А здесь, здесь можно читать будущее?

Не отвечая, я снова пожала плечами.

Да, я знала, что компания девочек предается опасным играм. Но закрывала на это глаза. Разве все их глупости, перешептывания, безумный смех не делались в отместку за ужасную повседневность их существования?

«В прегрешении Адама мы все погибаем…»

«Этот позор у нас на челе, мы не можем его стереть», и так далее.

По крайней мере, на несколько часов они снова становились свободными.

И вот однажды вечером, после ужина, Бетси, вся напрягшись, соскользнула на пол и осталась лежать там, вытянувшись, скрестив руки, закатив глаза, оскалившись так, что были видны ее молочные зубки. Я поспешила на помощь. Едва моя рука прикоснулась к ее, как Бетси отпрянула, испустив вопль. Я пришла в замешательство. То-

гда госпожа Паррис бросилась к ней и прижала к себе, настолько забывшись, что стала покрывать ее поцелуями.

Я вернулась на кухню.

Наступила ночь; каждый удалился к себе в комнату. Я из осторожности выждала некоторое время, а потом украдкой снова спустилась по деревянной лестнице. Затаив дыхание, я приоткрыла дверь в комнату Бетси, но, к моему удивлению, там было пусто, словно родители взяли ее к себе, чтобы защитить от неведомого зла.

Невольно я будто снова увидела, какой взгляд бросила на меня госпожа Паррис. Поразившее Бетси неведомое зло могло прийти только от меня.

Вот она, материнская неблагодарность!

С тех пор как мы покинули Бриджтаун, я не переставала быть безгранично преданной госпоже Паррис и Бетси. Я караулила малейшее чихание, останавливала первые приступы кашля. Я старалась положить в их похлебку приправы, чтобы та стала ароматнее. В самый сильный ветер выходила за фунтом патоки. Несмотря на снег, отправлялась за несколькими початками кукурузы.

И вот в мгновение ока все это оказалось забыто,

я стала врагом. По правде говоря, возможно, я никогда и не переставала им быть, да и разве госпожа Паррис не завидовала тем узам, которые связывали меня с ее дочерью?

Если бы я пребывала в меньшем замешательстве, то попыталась бы воспользоваться разумом и понять причину такой перемены. Вот уже несколько месяцев Элизабет Паррис живет в пагубной атмосфере Салема среди людей, которые считают меня прислужницей Сатаны и повторяют это при каждом удобном случае, удивляясь, как это нас с Джоном Индейцем терпят в христианском доме. Вполне вероятно, подобные мысли могли, в свою очередь, отравить и ее, даже если в первое время она их всеми силами отвергала. Но я была не в состоянии отдалиться от боли, которую чувствовала. Измученная, я поднялась к себе в комнату, где, одинокая и огорченная, улеглась в кровать. Прошла ночь.

На следующий день я, как обычно, спустилась первой, чтобы приготовить завтрак. У нас были прекрасные свежеснесенные яйца, я разбивала и взбалтывала их, чтобы приготовить омлет, когда услышала, что семья собирается вокруг стола для ежеутренней молитвы. Сэмюэль Паррис громко окликнул меня:

— Титуба!

Каждое утро он звал меня именно так. Но в то мгновение его голос звучал по-другому, угрожающе! Прежде чем откликнуться на зов, я помедлила.

Едва я появилась в дверном проеме, завернувшись в шаль — недавно разожженный огонь еще дымил, не давая тепла, — как маленькая Бетси вскочила и принялась с криком кататься по полу.

В ее воплях не было ничего человеческого.

Каждый год в преддверии Рождества рабы обычно откармливали поросенка, которого предавали смерти за два дня до праздничной трапезы, чтобы его мясо, погруженное в маринад из лимона и листьев индийского дерева, успело избавиться от вредных примесей. На рассвете поросенка резали, затем подвешивали за задние ноги к ветвям калебасового дерева. Пока кровь стекала, сперва пузырящейся струей, а затем все слабее и слабее, он издавал хриплые невыносимые вопли, резко прерывавшиеся молчанием смерти.

Вот так кричала и Бетси. Как будто в тело ребенка вселился ужасный зверь чудовищной силы.

Абигайль осталась стоять в явном замеша-

тельстве. Затем ее взгляд, от которого ничего не ускользало, прошелся от обвиняющего лица Сэмюэля Парриса к объятому не меньшим ужасом лицу госпожи Паррис, а затем к моему — должно быть, выражавшему полнейшее смятение. Похоже, она поняла, что происходит, — и, подобно безумцу, бросающемуся в пруд, не зная, что скрывается под его зеленоватой поверхностью, вскочила с места и принялась точно так же, с завываниями кататься по полу.

Этот омерзительный кошачий концерт продолжался несколько минут. Затем обе девочки, казалось, впали в каталепсию. Тогда Сэмюэль Паррис спросил:

— Титуба, что ты с ними сделала?

Я хотела бы ответить смехом, выражающим сильнейшее презрение, а затем вернуться на кухню. Вместо этого я, потрясенная, осталась стоять, глядя на этих двух девочек, не в силах ни сдвинуться, ни произнести хоть слово. Наконец госпожа Паррис заявила плачущим голосом:

— Ты видишь результат своего колдовства!

Я подпрыгнула.

— Госпожа Паррис, когда вы были больны, кто вас вылечил? Кто заставил сиять на вашем лице солнце исцеления в бостонских трущобах, где

вы едва не скончались? Разве не я? А теперь вы говорите о колдовстве!

Сэмюэль Паррис развернулся в другую сторону, будто хищник, почуявший другую добычу, и прогремел:

— Элизабет Паррис, объяснитесь! Вы тоже были замешаны в эти игры с Сатаной?

Несчастная женщина пошатнулась, а затем сползла вниз, встав на колени у ног мужа:

— Простите меня, Сэмюэль Паррис, я не знала, что делаю!

Не представляю, из кого бы Паррис сделал себе виноватого, если бы в то же мгновение Бетси и Абигайль не вышли из транса и не принялись еще сильнее вопить, как проклятые.

На входную дверь не замедлили посыпаться удары кулаков соседей, которых привлек шум. Лицо Сэмюэля Парриса преобразилось. Приложив палец к губам, он схватил обеих дочерей, будто вязанки дров, и унес их наверх. Некоторое время спустя госпожа Паррис оказала ему поддержку. Открыв дверь любопытствующим, она успокаивающе пробормотала:

— Ничего страшного, ничего страшного. Сегодня утром господин Паррис решил наказать дочерей.

Вновь пришедшие громко выражали свое согласие:

— На мой взгляд, такое следует делать почаще!

Госпожа Шелдон, дочь которой, Сюзанна, не упускала случая ежедневно запираться вместе с Абигайль, была первой усомнившейся:

— А по звуку — как было с детьми Гудвина. Надеюсь, их не околдовали!

Говоря это, она уставилась беспощадным взглядом своих белесых глаз именно на меня. Госпоже Паррис удалось издать смешок:

— С чего вы взяли, госпожа Шелдон? Вам же известно, что ребенок — как хлеб, который следует замесить. И, можете мне поверить, Сэмюэль Паррис — хороший пекарь!

Все рассмеялись. Я вернулась к себе на кухню. После недолгого размышления все стало мне намного понятнее. Вольно или невольно, сознательно или нет, кто-то настроил Бетси против меня. Насколько я понимала, Абигайль — достаточно искусная, чтобы разнюхать, чьей стороны придерживаться с пользой для себя, — играет в этом деле лишь второстепенную роль. Мне требовалось вновь завоевать доверие девочки; в успехе я не сомневалась, лишь бы удалось остаться с ней наедине.

Теперь мне было необходимо защитить себя, а с этим я и так запоздала! Нужно ответить ударом на удар. Потребовать око за око. Старые человеколюбивые уроки Ман Яя больше не имели значения. Те, кто меня окружал, были такими же свирепыми, как голодные волки, воющие в бостонских лесах; мне следовало уподобиться им.

Впрочем, было и кое-что, чего я тогда не знала: злость — это дар, который получают от рождения. Его нельзя приобрести. Те из нас, кто приходит в мир без такого оружия, как когти и клыки, проигрывают все сражения.

11

— Все эти годы, что мы вместе, смотрю я на тебя, моя сокрушенная жена, и повторяю себе: ты не понимаешь мира белых, среди которых мы живем. Ты делаешь исключения. Веришь, будто некоторые из них могут ценить нас и любить. Как же ты ошибаешься! Надо ненавидеть всех, без разбора.

— Хорошо тебе, Джон Индеец, так говорить! Ты вроде марионетки у них в руках. Я тяну за одну нить, ты тянешь…

— Я ношу маску, моя отчаявшаяся жена! Раскрашенную в те цвета, какие они желают. Красные выпученные глаза? «Да, господин!» Пурпурный рот с огромными губищами? «Да, госпожа!» Нос, сплющенный будто жаба? «Рад служить, месье-мадам!» А за всем этим я сам, свободный, Джон Индеец! Я смотрел, как ты облизываешь эту маленькую Бетси, будто медовую конфетку, и говорил себе: «Только бы она не разочаровалась!»

— Думаешь, она меня не любила?

— Мы с тобой негры, Титуба! Целый мир действует нам на погибель!

Я прижалась к боку Джона Индейца; слова,

которые он произносил, были не такими уж жестокими. Наконец я пролепетала:

— Что же теперь будет?

Он принялся размышлять:

— Сэмюэля Парриса больше всего заботит, чтобы кто-нибудь в Салеме не начал распространять слухи, будто его дочери околдованы. Он собирается послать за доктором Григгсом в надежде, что это обычное распространенное заболевание. Все будет полностью испорчено, только если несчастный доктор не сможет их вылечить!

Я простонала:

— Джон Индеец, Бетси не может быть больна. Я защищала ее от всего…

Он прервал меня.

— Вот в этом-то и несчастье! Ты хотела ее защитить. Она рассказала подробности Абигайль — о, не желая ничего плохого, в это я заранее готов поверить, а та — своей компании маленьких сучек, которые сделали из этого яд. Увы! Она сама первая им и отравилась!

Я расплакалась. Джон Индеец не стал меня утешать; напротив, самым суровым тоном он продолжил:

— Ты помнишь, что ты дочь Абены?

Эта фраза несколько привела меня в себя. Че-

рез узкое слуховое окно сочился дневной свет, грязный, будто тряпка. Надо было вставать и приниматься за повседневные обязанности.

Сэмюэль Паррис уже готовился отправиться в молитвенный дом, так как настал субботний день. Половина лба была скрыта черной шляпой, что придавало лицу форму жестко очерченного треугольника. Хозяин повернулся ко мне:

— Титуба, я не обвиняю без доказательств. Поэтому я оставляю свое решение на потом. Но если завтра доктор Григгс придет к заключению, что это воздействие Лукавого, я покажу тебе, что я за человек.

Я усмехнулась:

— Что вы называете доказательствами?

Он по-прежнему в упор смотрел на меня.

— Я заставлю тебя признаться в том, что ты сотворила с моими детьми, и сделаю так, чтобы тебя повесили. Красивый же плод появится на одном из деревьев Массачусетса!

В это время в комнату вошли госпожа Паррис и обе девочки. В руках у Абигайль был молитвенник.

Она и упала первой, принявшись вопить. Несколько мгновений Бетси стояла, покраснев и, как мне показалось, колеблясь между привязан-

ностью и ужасом. Затем упала рядом с Абигайль.

В свою очередь, я заорала:

— Перестаньте, перестаньте! Бетси, Абигайль, вы хорошо знаете, что я никогда не делала вам зла! Особенно вам, Бетси! Все, что я хотела, — это делать добро!

Сэмюэль Паррис пошел прямо на меня; ненависть его была так сильна, что я пошатнулась, словно он меня ударил.

— Объяснись! Ты сказала слишком многое. Что ты им сделала?

В этот раз я снова была спасена толпой соседей, как и накануне, привлеченных шумом. Они в почтительном молчании встали вокруг девочек, которые продолжали корчиться в самых непристойных судорогах. Спустившийся в свою очередь Джон Индеец, не говоря ни слова, пошел на кухню за ведром воды и — плюх! — выплеснул ее на наших маленьких безумиц. Их это успокоило. Обе встали — мокрые насквозь, почти раскаивающиеся. Выстроившись вереницей, мы направились в молитвенный дом.

Переполох возобновился, когда мы занимали места на молитвенной скамье. У Джона Индейца было обыкновение заходить первым, следом шла я; таким образом мы с госпожой Паррис оказы-

вались по обе стороны от девочек. Когда настала очередь Абигайль выйти вперед и преклонить колени рядом со мной, она остановилась, отпрыгнула к центральному проходу и подала голос.

Представьте себе воскресную службу в Салеме! Там были все: Джон Патнам — торговец ромом, Томас Патнам — сержант и Анна — его жена, Джилс Кори, его жена Марта, их дочери и мужья их дочерей, Джоанна Чибум, Натаниэль Ингерсолл, Джон Проктор и Элизабет… и еще, и еще! Я узнавала и другие лица с возбужденно блестящими глазами — лица девочек и совсем юных девушек, подруг Абигайль и Бетси по опасным играм. Как они горели желанием тоже броситься на пол, привлекая к себе взгляды собравшихся! Я чувствовала: стоит им только вступить в этот танец, они не успокоятся!

В тот раз Абигайль оказалась единственной, кто устроил крик, накручивая себя. Бетси не последовала ее примеру. Некоторое время спустя Абигайль замолчала и неподвижно распростерлась на полу с наполовину выбившимися из-под чепца волосами. Джон Индеец встал, вышел из-за скамьи и, взяв Абигайль на руки, отнес в дом. Остаток службы был без происшествий.

Признаю, я бесхитростна. В этом я убеждена:

даже злодейское и преступное племя способно порождать чувствительных добрых людей подобно тому, как чахлое дерево может приносить щедрые плоды. Я верила в привязанность Бетси, определенно сбитой с пути не знаю кем, но не теряла надежды, что могу ее вернуть. И вот я воспользовалась мгновением, когда госпожа Паррис спустилась, чтобы ответить любопытным, которые целым потоком приходили справиться о состоянии девочек, чтобы подняться к ней в комнату.

В сумерках Бетси сидела у окна, ее пальцы неподвижно замерли на вышивке; на личике застыло такое выражение, что сердце у меня сжалось. При звуке моих шагов Бетси подняла голову, и ее рот тотчас же округлился, чтобы испустить крик. Поспешно подойдя к ней, я заткнула ее рот рукой. Она укусила меня так жестоко, что брызнула кровь; мы замерли, глядя друг на дружку, пока на полу медленно появлялся красный ручеек.

Несмотря на боль, я произнесла так мягко, как только могла:

— Бетси, кто настроил вас против меня?

Она покачала головой:

— Никто, никто.

Я настаивала:

— Это Абигайль?

Бетси продолжала качать головой, все более и более судорожно:

— Нет, нет, они только мне сказали: то, что вы мне делаете, — плохо!

Я произнесла тем же голосом:

— Почему вы говорите с ними об этом? Разве я не сказала вам, что это должно остаться между нами?

— Я не могла, не могла! Все то, что ты мне делала!

— Разве я вам не объяснила, что все это было ради вашего блага?

Ее верхняя губа задралась в омерзительной усмешке, открывающей нездоровые зубы.

— Это ты-то делаешь благо? Ты негритянка, Титуба! Ты только и можешь, что творить зло. Ты сама Зло!

Эти слова я уже слышала, точнее, читала их во взглядах. Но я и вообразить себе не могла, что они раздадутся из таких дорогих мне уст! Я буквально потеряла дар речи. Бетси прошипела, подобно зеленой мамбе с островов:

— Что было в ванне, которую ты заставила меня принять? Кровь новорожденного, которого ты умертвила своим злым умыслом?

Я была ошеломлена.

— А кот, которого ты кормишь каждое утро? Это Он, правда?

Я заплакала.

— А когда ты уходишь в лес, это чтобы встретить тех, других, таких же, как ты, и танцевать с ними, ведь так?

Я нашла силы выйти из комнаты.

Я пересекла столовую, полную взбудораженных болтливых матрон, и скрылась в кухне. Кто-то убрал миску, в которой я созерцала очертания своего Барбадоса; я села на скамейку, окаменев от горя. Я так и сидела, погрузившись в себя, когда ко мне пришла Мэри Сибли. Я испытывала к ней не больше симпатии, чем почти ко всем женщинам деревни. Однако признаю: раз или два она с достаточным состраданием говорила о тех, кто рожден черной женщиной от мужчины с белой кожей. Мэри взяла меня за руку:

— Слушай, Титуба! Скоро на тебя набросится стая волков и растерзает, поспешив как следует насладиться, пока кровь не свернулась и не потеряла вкус. Ты должна защитить себя и доказать, что дети не околдованы.

Я была удивлена и, не доверяя этому неожиданному проявлению заботы, произнесла:

— Мне очень хотелось бы суметь это сделать. К несчастью, я не знаю как.

Она понизила голос:

— Ты единственная, кто этого не знает. Достаточно испечь им пирог. Разница в том, что вместо того, чтобы замешивать муку с водой, ты подольешь туда мочи. Как только он испечется, ты преподнесешь его им…

Я прервала ее:

— Госпожа Сибли, несмотря на уважение, которое я к вам испытываю, идите рассказывать эту чепуху в другом месте!

Она развернулась к Джону Индейцу, который в то мгновение входил в кухню.

— Знает ли, знает ли она, что делают с ведьмами? Я изо всех сил стараюсь ей помочь, а она смеется мне прямо в лицо!

Джон Индеец принялся водить глазами справа налево и произнес плачущим голосом:

— О да! Госпожа Сибли! Помогите бедной Титубе и несчастному Джону Индейцу.

Но я продолжала стоять на своем:

— Со своей чепухой, госпожа Сибли, идите в другое место!

Разобиженная, она вышла в сопровождении Джона Индейца, который тщетно пытался ее

успокоить. Ближе к концу дня те, кого я когда-то выгнала из кухни, друг за дружкой вошли туда. Все без исключения. Энн Патнам. Мэри Уолкотт. Элизабет Хаббард. Мэри Уоррен. Мерси Льюис. Элизабет Бут. Сюзанна Шелдон. Сара Черчилль. И я поняла, что они только что глумились надо мной. Что они только что насладились зрелищем моего падения. О, это было всего лишь начало! Я паду намного ниже. И гораздо хуже сделаю себе сама. От этого счастливого предвкушения их глаза сверкали жестоким блеском. От этого они становились почти красивыми, несмотря на свои безобразные наряды. От этого они становились почти желанными: Мэри Уолкотт с бедрами в форме почтового сундука, Мэри Уоррен с рано налившейся грудью в форме груш, Элизабет Хаббард, чьи торчащие изо рта зубы походили на кусочки известняка.

В ту ночь мне приснилась Сюзанна Эндикотт; я запомнила ее слова:

— Буду тебя преследовать и при жизни, и после смерти!

Значит, это была ее месть? Она умерла и похоронена на кладбище Бриджтауна? Ее дом продан с аукциона, а имущество роздано бедным, как она и желала?

Значит, это была ее месть?

Джон Индеец вернулся к Дикону Ингерсоллу, моя кровать была пустой и холодной, словно выкопанная могила. Отодвинув занавеску, я увидела луну, будто наездницу в дамском седле, восседавшую посреди неба. Вокруг ее шеи был повязан облачный шарф, небо вокруг сделалось чернильного цвета.

Содрогнувшись, я снова легла спать.

Незадолго до полуночи дверь открылась; я находилась в таком волнении и тревоге, что моментально вскочила и уселась на своем ложе. Это был Сэмюэль Паррис. Не говоря ни слова, он встал в полумраке; его губы бормотали молитвы, которые я не могла различить. Некоторое время, показавшееся мне бесконечным, его долговязая фигура неподвижно стояла, прислонившись к стене. Затем он удалился так же, как и вошел; я смогла поверить, что мне это приснилось. И он тоже.

Утром сон выпустил меня из своих благодетельных рук. Он был добр ко мне. Он предложил прогулку через холмы моего Барбадоса. Я снова увидела хижину, где провела счастливые дни, в том уединении, которое — теперь я прекрасно это видела — является наивысшим благом. Моя

хижина совсем не изменилась! Разве что чуть больше скособочилась. Чуть сильнее заросла мхом. Свод сплошь увит лианами. Калебасовое дерево выставляло напоказ округлости, каждая из которых была подобна чреву беременной женщины. Река Ормонд лепетала, будто новорожденный.

Моя потерянная родина, смогу ли я когда-нибудь вновь обрести тебя?

12

С доктором Григгсом мы находились в превосходных отношениях. Он знал, что я исцелила немощи госпожи Паррис самым лучшим образом, что только благодаря мне она в состоянии по воскресеньям распевать псалмы в молитвенном доме. Кроме того, он знал, что я вылечила девочек от кашля и бронхита. Один раз он даже пришел расспросить меня относительно скверной раны на лодыжке его сына.

До сих пор он, как мне казалось, не находил в моих талантах ничего плохого. Однако тем утром, толкнув дверь Сэмюэля Парриса, он избегал смотреть на меня. Я поняла, что он собирается переметнуться в лагерь моих обвинителей. Доктор поднялся по лестнице, которая вела на второй этаж; я услышала, как на лестничной площадке он о чем-то тихонько советуется с господином и госпожой Паррис. Некоторое время спустя послышался голос Сэмюэля Парриса:

— Титуба, тебе надлежит быть здесь.

Я повиновалась.

Бетси и Абигайль находились в родительской спальне; они сидели рядом друг с дружкой на

просторной кровати, накрытой периной. Едва я в достойном сопровождении вошла в комнату, как они с оглушительными воплями рухнули на пол. Доктор Григгс не позволил сбить себя с толку. Положив на стол несколько толстых книг, переплетенных в кожу, он открыл каждую на аккуратно отмеченной странице и принялся читать с самым серьезным видом. Затем, повернувшись к госпоже Паррис, он приказал ей:

— Разденьте их!

Несчастная женщина выглядела совершенно растерянной; я вспомнила ее признания относительно мужа: «Моя бедная Титуба, он берет меня, не сняв ни моей одежды, ни своей!»

Эти люди совершенно не выносят наготы, даже детской!

Доктор Григгс повторил тоном, не допускающим ни промедления, ни возражений:

— Разденьте их!

Ей пришлось подчиниться.

Перейду к тому, как трудно снять одежду с девочек, которые сохраняют неподвижность не более чем черви, разрезанные пополам, и при этом орут, словно с них заживо сдирают кожу! Все же госпоже Паррис удалось выполнить свое задание до конца; появились тела девочек — у Бетси

совершенно детское, у Абигайль перешедшее в состояние отрочества, с отвратительными волосами на лобке и розоватыми ореолами сосков. Доктор Григгс тщательно осмотрел их, несмотря на мерзкие эпитеты, которыми поливала его Абигайль, принявшаяся во все горло вопить самые отвратительные оскорбления. Наконец он повернулся к Сэмюэлю Паррису и сокрушенно произнес:

— Я не наблюдаю ни расстройства печени или селезенки, ни скопления желчи, ни жара в крови. Одним словом, я не наблюдаю никакой физической причины их состояния. Должен сделать вывод: Лукавый и правда наложил на них руку.

Эти слова приветствовались оглушительным тявканьем, рычанием и ревом. Повысив голос, чтобы перекричать гвалт, доктор Григгс продолжил:

— Но я всего лишь скромный деревенский врач. Ради любви к наивысшей истине пошлите за собратьями, сведущими более моего.

На этом он собрал книги и ушел.

Внезапно в комнате наступила тишина, будто Бетси и Абигайль осознали важность только что сказанного. Затем Бетси разразилась жалобными рыданиями, в которых, казалось, теперь слыша-

лись страх, раскаяние и бесконечная усталость.

Сэмюэль Паррис догнал меня на лестничной площадке и ударом отшвырнул к стене. Затем он шагнул ко мне и схватил за плечи. Я и не знала, что он такой сильный: не руки, а когти хищной птицы. Никогда раньше мне не случалось с такого близкого расстояния вдыхать нездоровый запах его тела. Он отчеканил:

— Титуба, если будет доказано, что моих детей околдовала ты, повторяю: я сделаю так, чтобы тебя повесили!

У меня нашлись силы, чтобы возразить:

— Почему, как только речь заходит о колдовстве, вы думаете именно на меня? Почему вы не подумаете на соседок? Мэри Сибли, по-видимому, кое-что в этом понимает. Расспросите ее!

Это потому, что я начала вести себя будто затравленный зверь, который царапает и кусает всех, кого только может.

Лицо Сэмюэля Парриса сделалось жестким, рот сжался до тонкой кровавой черты. Он разжал свои объятия:

— Мэри Сибли?

Тем не менее объясниться с ней ему было не суждено, по крайней мере, немедленно. В комнату внизу ввалилась целая стая вопящих мегер.

Зло стало распространяться и затронуло других девочек деревни. Энн Патман, Мерси Льюис, Мэри Уолкотт одна за другой пали под тем, что было решено называть кознями Лукавого.

С севера на юг Салема над деревянными кормушками для скота, над загонами, над полями, поросшими можжевельником и ромашками поднимался безобразный шум голосов. Голосов «одержимых». Голосов объятых ужасом родителей. Голосов слуг и близких, пытающихся оказать помощь. Сэмюэль Паррис казался очень усталым.

— Завтра я еду в Бостон, обратиться за советом к властям.

Что мне было терять?

Подняв юбку над деревянными башмаками, стиравшими мне ноги в кровь, я побежала к Энн и Томасу Патнам. Томас Патнам, без сомнения, был одним из самых зажиточных в Салеме. Этот великан в шляпе около метра окружностью и в накидке из тяжелого английского сукна являл собой выгодный контраст с женой, которую каждый шепотом называл сумасшедшей. Их дочь — маленькая Энн — много раз говорила мне, что мать желает побеседовать со мной о посещающих ее видениях.

— Она видит, как некоторых жарят в аду!

Понятно, что после подобных речей я предпочла избегать всякого общения с Энн Патнам!

В толпе, заполнявшей первый этаж дома Патнамов, никто не обратил на меня внимания, и я могла без помех наблюдать за кривляньями маленькой Энн. В какой-то момент она выпрямилась, наставила палец на стену и произнесла театральным голосом:

— Здесь, здесь, я его вижу! У него нос как орлиный клюв, глаза будто огненные шары, а все тело покрыто длинной шерстью. Здесь, здесь, я его вижу!

Чего можно было ожидать? Зрелища, как толпа взрослых сперва смеется над мнимыми страхами, а затем утешает ребенка? Вместо этого присутствующие бросились во все стороны и упали на колени, читая псалмы и молитвы. Единственной, кто, положив кулаки на бедра и, откинув голову назад, издевательски расхохотался, была Сара Гуд. Она даже добавила:

— Так чего вы ждете? Идите, потанцуйте с ним! Если в этой комнате и есть его творения, думаю, вы как раз одно из таких!

Затем, взяв маленькую Доркас за руку, она удалилась. Мне следовало сделать то же самое.

Потому что во всеобщем движении, которое произвел ее уход, последовавший за насмешливой тирадой, каждый посмотрел на соседа; меня обнаружили в углу, куда я забилась.

Первый камень бросила госпожа Поуп:

— Хорошенькую же новую прихожанку привел нам Сэмюэль Паррис! По правде говоря, ему не удалось вырастить золото, вот он и опустился до проклятой смоковницы!

Госпожа Поуп была женщиной без мужа, каких в Салеме много, из тех, кто большую часть времени проводит, таская из дома в дом полную корзину сплетен. Она всегда знала, почему такой-то новорожденный умер и почему живот такой-то новобрачной все еще остается пустым… и обычно все ее избегали. Однако на этот раз она снискала единодушную поддержку. Госпожа Хантчинсон последовала за ней и подобрала второй камень:

— Стоило ему только появиться в деревне с этими траурными физиономиями в поклаже, я сразу поняла: он отверз врата бедствиям! И теперь злой рок навис над нами!

Что могла я сказать в свою защиту?

К моему удивлению, госпожа Элизабет Проктор, наблюдавшая за всем этим с величайшей скорбью, отважилась подать голос:

— Воздержитесь от того, чтобы осуждать прежде, чем настал часа суда! Мы не знаем, колдовство ли это…

Ее голос был перекрыт десятью голосами:

— Нет же! Нет! Доктор Григгс узнал его.

Госпожа Проктор отважно пожала плечами:

— Ну хорошо! Вы что, никогда не видели, чтобы доктор ошибался? Разве не тот же Григгс отправил на кладбище жену Натаниэля Бейли, взявшись лечить ей горло, в то время как у нее была отравлена кровь?

Я сказала:

— Не трудитесь так ради меня, госпожа Проктор! Жабья слюна никогда не перебьет аромат розы!

Несомненно, я могла бы выбрать лучшее сравнение; мои враги не замедлили это отметить, расхохотавшись:

— Это кто тут роза? Ты, что ли? Ты? Ой, бедная Титуба, ты ошибаешься. Да, ошибаешься с цветом.

Несмотря на то что Ман Яя и моя мать Абена больше не разговаривали со мной, время от времени я безошибочно догадывалась об их присутствии. Часто в утренние часы в моей комнате по занавескам скользила легкая тень, чтобы

затем пристроиться на краешке кровати и поговорить со мной. Оставаясь неосязаемой, она излучала на удивление приятное тепло. И вот по аромату жимолости, распространявшемуся в моей жалкой комнатке, я узнавала Абену. Запах Ман Яя был сильнее — почти пряный, а еще более обманчивый. Ман Яя не дарила мне тепло, а придавала разуму остроту, убежденность, что в конечном итоге ничто не сможет меня уничтожить. Если быть предельно краткой, то Ман Яя давала мне надежду, а моя мать Абена — нежность. Тем не менее согласитесь, что перед лицом тех серьезных опасностей, которые мне угрожали, я нуждалась в более тесном общении. В словах. Иногда ничто не бывает ценнее слов. Зачастую лжецы, зачастую предатели, они от этого не перестают быть незаменимым бальзамом.

В маленьком сарайчике за домом, построенном Джоном Индейцем, я выращивала домашних птиц. Этих птиц я часто жертвовала своим дорогим невидимым. Однако теперь мне требовались другие посланцы. Жившая двумя домами дальше старая госпожа Хантчинсон хвасталась своим стадом баранов и особенно одним — в безукоризненно белой шубке и со звездочкой во лбу. На рассвете, когда послышался звук пастушьего

рожка, возвещавшего всем жителям Салема, что настало время почтить господа работой, пастух, услуги которого она оплачивала, в сопровождении двух или трех собак выходил на дорогу к общественному пастбищу, расположенному в конце деревни. За госпожой Хантчинсон даже числилось несколько скверных скандалов, так как она отказывалась платить налоги за пастбище. В этом был весь Салем! Община, где грабят, обманывают, воруют, при этом прикрываясь божьим именем. Напрасно Закон диктовал, чтобы воров метили буквой В[23], секли, отрезали уши, вырывали языки — преступления все множились!

Все это для того, чтобы объяснить: у меня не было никаких угрызений совести из-за того, что я собралась обокрасть воровку!

Отвязав веревку, запиравшую загон, я скользнула между сонными животными, которые быстро забеспокоились. Я схватила барана. Под моей рукой тот начал сопротивляться, готовясь резко отпрыгнуть назад. Однако я была сильнее, и животному пришлось идти за мной.

Я повела его на лесную опушку.

---

[23] Сноски: 23
От слова burglar — вор (*англ.*). — *Прим. авт.*

Мгновение, не больше, мы смотрели друг на друга: он — жертва, я — палач, но палач трепещущий, умоляющий простить меня и унести мои молитвы вместе с потоком своей крови. Затем я перерезала барану горло — резким безошибочным движением. Он упал на колени, земля вокруг моих ног увлажнилась. Я намазала себе лоб свежей кровью. Следом я выпотрошила тушу, не обращая внимания на вонь от его потрохов и фекалий. Вырезав четыре порции его плоти, я предложила их четырем сторонам света, а затем оставила в качестве приношения невидимым.

После этого я неподвижно распростерлась на земле; в голове у меня теснились молитвы и заклинания. Заговорят ли они со мной наконец — те, единственные, дающие мне силы жить? Я так в них нуждалась. У меня больше не было родной земли. У меня был только мой мужчина. Мне пришлось убить своего ребенка. Они были так нужны мне — те, кто произвел меня на свет. Не могу сказать, сколько времени прошло. Затем в зарослях послышался шум. Передо мной стояли Ман Яя и моя мать Абена. Нарушат ли они наконец молчание, на которое мы наталкивались, словно на стену? Сердце оглушительно стучало, готовое разорваться. Наконец Ман Яя заговорила:

— Не тревожься, Титуба! Сама знаешь: неудача — это сестра-близнец негра! Вместе с ним она рождается, с ним ложится, соперничает с ним за ту же высохшую грудь. Ест треску из его калебасы. Тем не менее негр сопротивляется! И те, кто захочет увидеть, как он исчезнет с лица земли, просчитаются! Из всех ты будешь единственной, кто выживет.

Я принялась умолять:

— Вернусь ли я на Барбадос?

Пожав плечами, Ман Яя ограничилась тем, что сказала:

— Разве об этом нужно спрашивать?

Затем, легонько помахав рукой, она исчезла. Моя мать Абена задержалась подольше, испустив свою обычную порцию вздохов. Затем и она исчезла, не дав мне дальнейших разъяснений.

Немного успокоившись, я пришла в себя. Несмотря на холод, начали роиться мухи, привлеченные запахом крови и свежего мяса. Я вернулась в деревню, где уже звучали сигналы к пробуждению. Я и не подозревала, что провела в молитвах столько времени. Сара Хантчинсон только что была буквально вытащена из постели пастухом, заметившим исчезновение главного украшения стада. Торопливо запихнув волосы

под чепец, она гневно орала:

— Однажды кара господня падет на жителей Салема, как это было с жителями Содома и Гоморры, и господь не найдет себе десяти праведников, чтобы избавить город от наивысшего наказания. Воры, вор на воре и вором погоняет!

У меня хватило лицемерия остановиться, словно сочувствуя ее огорчению. Понизив голос, Сара Хантчинсон потащила меня в угол своего сада.

— Помоги мне, Титуба, найти того, кто причинил мне вред, и накажи его! Пусть его первый ребенок, если такой есть, сдохнет от чего-нибудь вроде оспы. Если у него детей еще нет, сделай так, чтобы его жена никогда не понесла! Ты это можешь, я знаю. Везде говорят, что нет ведьмы опаснее тебя!

Полная мимолетной самонадеянности, которую внушили мне Ман Яя и моя мать Абена, я посмотрела ей прямо в глаза и произнесла, четко выговаривая каждое слово:

— Страшней всего — не те женщины, которых мы ведьмами называем. Вы достаточно пожили на свете, госпожа Хантчинсон, чтобы знать: не стоит принимать на веру все, что говорится!

Она издала злобный смешок:

— Уж больно ты рассудительна, моя негритя-

ночка! Когда закачаешься в петле, сразу рассуждать перестанешь.

Невольно содрогнувшись, я вернулась домой.

Возможно, у кого-то вызовет удивление, что мысль о смерти ввергает меня в трепет. В этом и состоит двойственность подобных мне. Мы обладаем смертным телом и поэтому являемся жертвой всех страхов, одолевающих обычные человеческие создания. Как и они, мы боимся страданий. Нас точно так же пугают ужасные врата, которыми заканчивается земная жизнь. Мы знаем, что эти двери распахнутся перед нами, пропуская в другое — вечное — существование, но, несмотря на это, задыхаемся от тревоги и волнения. Чтобы вернуть спокойствие в свое сердце и разум, мне пришлось повторить слова Ман Яя:

— Ты будешь единственной из всех, кто выживет!

Часть II

1

Подобные трем хищным птицам, священнослужители заняли места в столовой. Один прибыл из прихода Беверли, два других — из города Салема. Они вытянули свои костлявые ноги к огню, резко и светло сиявшему в камине. Затем согрели над огнем ладони. Наконец один из них, самый молодой — Сэмюэль Аллен — поднял глаза на Сэмюэля Парриса и спросил:

— Где дети?

Сэмюэль Паррис ответил:

— Они ждут на втором этаже.

— Они там все?

Сэмюэль Паррис кивнул:

— Я приказал, чтобы родители привели их сюда рано утром. Сами же они ждут в молитвенном доме, молясь господу.

Трое священнослужителей поднялись на ноги:

— Сделаем то же самое, ибо труд, который нам предстоит совершить, требует божьей помощи!

Сэмюэль Паррис открыл свою книгу и начал страстным и напыщенным тоном, который он так любил:

Так говорил Господь:
Небо – престол Мой,
А земля – подножие ног Моих;
Где же построите дом для Меня
И место покоя Моего?
Ибо все это содеяла рука Моя…

Так он читал достаточно долго, а затем, закрыв книгу, произнес:

— Исайя. Глава 66.

Эдуард Пейсон из Беверли отдал приказ:

— Пусть они спустятся сюда!

Поспешно выходя из комнаты, Сэмюэль Паррис повернулся ко мне и сказал с поразительной добротой в голосе:

— Если ты невиновна, тебе нечего бояться!

Мне хотелось придать своему голосу уверенности, но он прозвучал хрипло и с дрожью:

— Я невиновна.

Девочки уже входили в комнату. Заявив, что собрались все, Сэмюэль Паррис лгал: там были только Бетси, Абигайль и Энн Патнам. Затем я поняла, что он выбрал самых юных из одержимых, как он их называл; самых жалких, вызывающих в сердцах отца и супруга лишь одно желание — облегчить страдания, избавить от мучений.

Против своей воли я подумала, что, за исключением Бетси, прозрачной как воск, с выцветшими от ужаса глазами, Абигайль и Энн никогда не выглядели лучше, особенно первая, более всего напоминавшая хитрую кошку, которая готовится полакомиться беззащитной птичкой.

Безусловно, я знала, что нахожусь под прицелом, но вряд ли смогу описать, какие чувства тогда испытывала. Ярость. Желание убивать. Причинять боль — особенно ее. Я была несчастной дурой, пригревшей на своей груди гадюк, приложив к соску их треугольные пасти с раздвоенными языками. Я была обманута. Ограблена, будто галеон, тяжело нагруженный венецианскими жемчужинами. Мое тело пронзил своим клинком испанский пират.

Эдуард Пейсон — самый старший из мужчин, с уже седеющими волосами и увядшей кожей — спросил:

— Скажите нам, от чего мы пытаемся избавить вас? Кто же, кто вас мучает?

С хорошо рассчитанной паузой, чтобы придать больше веса своим словам, они произнесли:

— Это Титуба!

В полном смятении я слышала, как они называют и другие имена; я так и не поняла, почему

они оказались связаны с моим:

— Это Сара Гуд! Это Сара Осборн!

С тех пор как мы поселились в Салеме, я не обменялась ни с Сарой Гуд, ни с Сарой Осборн ни единым лишним словом. Большее, что мне случалось делать, — это давать Доркас Гуд кусочек яблочного или тыквенного пирога, когда та проходила под моим окном с детьми, выглядевшими плохо накормленными.

Подобно трем хищным птицам, мужчины проникли в мою комнату. Они надели покрывающие лицо капюшоны черного цвета, в которых были проделаны лишь дырки для глаз; ткань пересекали полосы влаги от их дыхания. Они быстро обошли мою кровать. Двое схватили меня за руки, третий в это время принялся связывать мои ноги так туго, что я закричала от боли. Затем один из них заговорил, и я узнала голос Сэмюэля Парриса:

— По крайней мере, есть хоть что-то хорошее в том аду, который ты пробудила. Нам будет легко тебя убить. Никто в этой деревне и пальцем не пошевелит, чтобы выступить в твою защиту, а у бостонских судей найдутся дела и поважнее. Впрочем, мы так и сделаем, если ты нас не послушаешься. Ибо, Титуба, ты не заслуживаешь даже

веревки, чтобы тебя повесить!

Я пролепетала:

— Что вы хотите со мной сделать?

Один из них присел на краю моей кровати и, наклонившись так, что коснулся меня, отчеканил:

— Когда ты предстанешь перед судом, признайся, что это твоих рук дело.

Я заорала:

— Никогда! Никогда!

Удар пришелся мне по губам, брызнула кровь.

— Признайся, что это твоих рук дело, но ты действовала не одна, и разоблачи своих сообщниц! Гуд, Осборн и остальных!

— У меня нет сообщниц, потому что я ничего не сделала!

Один из мужчин уселся на меня верхом и принялся колотить по лицу кулаками, твердыми как камень. Другой поднял мне юбку и воткнул заостренную палку в самую чувствительную часть моего тела, глумясь:

— Бери, бери, это член Джона Индейца!

Когда я превратилась лишь в сгусток страданий, они остановились, и один снова заговорил:

— Ты не единственное создание Антихриста в Салеме. Есть и другие, чьи имена ты назовешь судьям. Слушай!

Я стала понимать, к чему они клонят, и произнесла умирающим голосом:

— Разве ваши дети не назвали моих так называемых сообщниц? Что вы хотите услышать от меня в добавление к ими сказанному?

Они засмеялись:

— Это, как ты сама говоришь, слова детей весьма неполные! Вскоре мы научим их не опускать главного! А вот новую главу откроешь ты!

Я покачала головой:

— Никогда! Никогда!

Тогда они снова набросились на меня; мне показалось, что заостренная палка доходит мне до самого горла. Тем не менее я продолжала держаться и прохрипела:

— Никогда! Никогда!

Они уставились друг на друга, а затем скрипнула дверь и знакомый голос нежно позвал:

— Титуба!

Это был Джон Индеец. Три хищные птицы толкнули его ко мне:

— Объясни ей, ты, по-видимому, не такой тупой!

Они удалились; в комнате остались только наше горе и запах моего унижения!

Джон Индеец прижал меня к себе; какой сладо-

стью было найти убежище в его объятиях! Достав платок, он постарался промокнуть им кровь с моих ран. Он опустил юбку на мои претерпевшие надругательство бедра, и я почувствовала его слезы на своей коже.

— Жена, моя измученная жена! Ты снова обманываешься в самом главном. Главное — это остаться в живых. Если они требуют, чтобы ты обличала, обличай. Половину жителей Салема, если им так угодно! Этот мир не наш, и если они хотят его сжечь, важно лишь одно: чтобы мы спаслись от этого пламени! Обличай же, обличай всех, кого тебе скажут!

Я оттолкнула его:

— Джон Индеец, они хотят, чтобы я созналась в преступлениях. Но ведь я невиновна!

Он пожал плечами и снова обнял меня, укачивая будто ребенка, который упрямится:

— Виновна? Конечно, в их глазах ты виновна и всегда таковой будешь. Речь идет о том, чтобы ты осталась в живых ради себя самой, ради меня… ради наших нерожденных детей!

— Джон Индеец, не говори о наших детях, ибо я никогда не произведу их на свет в этом мире, лишенном благодати!

Оставив мои слова без внимания, он снова

заговорил:

— Обличай, моя изнасилованная жена! Как ни странно это прозвучит, притворяясь, будто повинуешься им, ты отомстишь за себя, отомстишь за меня… Предай их разорению, как Предвечный, уничтожь их горы, их поля, их сокровища.

Подобно трем хищным птицам, деревенские полицейские схватили Сару Гуд, Сару Осборн и меня. О, у них не было причин хвастать своим подвигом, так как ни одна из нас не оказала им сопротивления. Сара Гуд только спросила, вставляя запястья в цепи:

— Кто позаботится о Доркас?

Присутствовавшие при этой сцене господин и госпожа Проктор вышли вперед; сердца их были полны жалости:

— Иди с миром! Мы возьмем ее и воспитаем вместе с нашими детьми!

При этих словах в толпе послышался ропот, словно все придерживались мнения, что ребенок ведьмы не должен находиться вместе с невинными детьми. Нашлись и те, кто сразу же подумал, не поддерживали ли господин и госпожа Проктор каких-либо сомнительных отношений с Сарой Гуд. Особенно если вспомнить, что, по словам их служанки, Мэри Уоррен, Элизабет Проктор

втыкала булавки в восковых кукол, которые запирала в шкафах. Полицейские сковали нам лодыжки и запястья такими тяжелыми цепями, что мы едва могли их тащить. Мы отправились в тюрьму Ипсвича.

Был февраль, самый холодный месяц года, оказавшегося таким немилосердным. Вдоль главной улицы Салема собралась толпа, глазевшая на то, как мы идем: во главе процессии — полицейские на лошадях, следом — мы, ковылявшие в снегу, перемешанном с дорожной грязью. Посреди всего этого отчаяния к небу поднималось удивительное пение птиц, перепархивавших с ветки на ветку в воздухе цвета льда.

Я же вспоминала слова Джона Индейца и теперь понимала их глубокую мудрость. Наивная, я верила, что достаточно кричать о своей невиновности, чтобы доказать ее! Наивная, я не знала, что добро, сделанное злым или слабым, вернется ко мне злом! Да, я собиралась отомстить за себя. Я собиралась разоблачать их и с вершины той власти, которой они меня наделяли, вызвать шторм, взрыхлить море волнами высотой со стену, выкорчевывать деревья, бросать в воздух, будто соломинки, балки, на которых держатся дома и сараи.

Чьи имена они хотели от меня услышать?

Внимание! Я не удовольствуюсь тем, что назову тех несчастных, которые вместе со мной месят дорожную слякоть. Я ударю сильнее. Я ударю в голову. И вот что: в том крайне бедственном положении, в которое меня ввергли, я чувствовала, как меня опьяняет ощущение власти! О да, мой Джон Индеец был прав! Эта месть, о которой я часто мечтала, принадлежала мне и по их воле!

Ипсвич находился в десяти милях от Салема; туда мы прибыли незадолго до наступления темноты. Тюрьма была полна преступников — убийц, всевозможных воров и грабителей, на которых земли Массачусетса так же богаты, как его воды — на рыбу. Полицейский с красным, как яблоко, лицом, что вызвано привычкой опустошать одну кружку рома за другой, записал наши имена в книгу, а затем взглянул на таблицу, висевшую за его спиной.

— Всего одна свободная камера, ведьмы! Можете проводить свои встречи в полной безнаказанности! И Сатана с вами!

Подручные с упреком взглянули на него: разве можно шутить на такие темы? Он же, находившийся наверху блаженства, вызванного спиртным, не обратил на них никакого внимания.

Нас притиснули одну к другой, мне пришлось дышать вонью трубки Сары Гуд; в это же время охваченная ужасом Сара Осборн не переставала мрачным голосом читать молитвы. Около полуночи нас разбудил крик:

— Она меня держит, она меня держит! Отпусти меня, творение Сатаны!

Это была Сара Осборн, чьи глаза почти вылезли на лоб. На кого она указывала пальцем? Разумеется, на меня! Я повернулась к Саре Гуд, чтобы взять в свидетельницы наглости и лицемерия нашей спутницы. Начинала ли та готовить свою защиту за мой счет? Разве не так? Иначе с чего бы она тоже начала кричать, уставившись на меня своими свиными глазками?

— Она меня держит, она меня держит! Отпусти меня, творение Сатаны!

Полицейский с красными щеками, которые теперь были совершенно круглыми, утихомирил этот невыносимый гвалт, сильным ударом ноги вытолкнув меня из камеры. В конце концов он приковал меня к крюку в коридоре.

Пронзительный ночной ветер задувал через все замочные скважины.

2

Неделю мы провели в тюрьме, ожидая, пока завершится подготовка к тому, чтобы мы предстали перед судом Салема. И снова, несмотря на недавние разочарования и воспоминания о настоятельных советах Джона Индейца, я позволила завлечь себя в ловушку ложной дружбы. Я истекала кровью, дрожа от холода в коридоре, где была прикована; какая-то женщина просунула руку сквозь решетку и остановила полицейского:

— Здесь хватит места на двоих. Впустите это несчастное создание!

Женщина, которая сказала это, была молодой — не более двадцати трех лет — и красивой. Она, без всякой скромности отвергнув чепец, являла взору пышные волосы, черные как вороново крыло. В глазах некоторых одно это могло служить символом греховности, взывающей к наказанию. Глаза ее тоже были черными: не серыми, цвета грязной воды, не зеленого цвета злости, а черными, будто благодетельная ночная темнота. Женщина сходила за кувшином воды и, опустившись на колени, постаралась вымыть

ссадины на моем лице. За работой она говорила будто сама себе, возможно, не ожидая ответа:

— Какой волшебный цвет у ее кожи! Как у нее получается под этим покровом скрывать свои чувства! Страх, тревогу, гнев, огорчение! У меня бы так никогда не получилось, меня бы постоянно выдавало движение крови.

Я остановила движения ее руки взад-вперед.

— Госпожа…

— Не называй меня «госпожа».

— Как же я тогда вас назову?

— По имени: Хестер. А тебя как зовут?

— Титуба.

— Титуба?

Она повторила это с восхищением.

— Откуда оно у тебя?

— Отец дал мне его при рождении.

— Твой отец?

Ее губа изогнулась в злобной гримасе.

— Ты носишь имя, которое тебе дал мужчина?

От удивления я несколько мгновений помолчала, затем возразила:

— Разве так не у всех женщин? Сперва фамилия отца, затем фамилия мужа.

Она задумалась.

— Я надеялась, что на некоторые общества

власть этого закона не распространяется. На твое, например!

Теперь настала моя очередь задуматься.

— Может быть, в Африке, оттуда мы родом, так и есть. Но мы больше ничего не знаем об Африке, и она больше не имеет для нас значения.

По тому, как она ходила взад и вперед по узкой камере, я поняла, что она беременна. Я все еще находилась во власти потрясения, когда Хестер подошла ко мне и мягко спросила:

— Я слышала, что они называют тебя ведьмой. В чем они тебя обвиняют?

И на этот раз, позволив возобладать симпатии, которую эта девушка вызывала у меня, я вообразила, что смогу объяснить:

— Почему в вашем обществе…

Она жестко прервала меня:

— Это не мое общество. Разве я не такая же изгнанница, как ты? Запертая в этих стенах?

Я поправила себя:

— …разве не вкладывают в этом обществе, называя кого-то ведьмой, в это слово значение «зловредная»? Ведьма, раз уж нам приходится употреблять это слово, исправляет, расправляет, утешает, лечит…

Она прервала меня взрывом смеха:

— Значит, ты не читала Коттона Мэзера[24]!

Приняв торжественный вид, она набрала в грудь воздуха:

— «Ведьмы творят странные и зловредные вещи. Они не могут совершать настоящих чудес, которые выполняются только Избранными и Посланниками Господа».

Рассмеявшись в свою очередь, я спросила:

— А кто такой Коттон Мэзер?

Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, она взяла мое лицо в обе ладони.

— Не может быть, чтобы ты сделала что-то плохое, Титуба! Для этого, я уверена, ты слишком красива! Даже если они все будут обвинять тебя, я буду отстаивать твою невиновность!

Растроганная так, что невозможно выразить никакими словами, я осмелела настолько, что погладила ее по лицу и прошептала:

— Ты тоже красива, Хестер! В чем они тебя обвиняют?

Она быстро ответила:

— В супружеской измене!

Я посмотрела на нее с ужасом, так как знала,

---

[24] Сноски: 24

Американский проповедник, религиозный моралист, биолог и медик, плодовитый писатель и памфлетист. Использовал библейские сюжеты как повод для рассуждений о насущных проблемах современности.

какое это серьезное прегрешение в глазах пуритан. Хестер продолжила:

— И пока я гнию здесь, тот, кто засадил мне в живот ребенка, ходит свободно куда захочет.

Я вздохнула:

— Почему ты его не обвинишь?

Она сделала оборот вокруг себя:

— А! Так ты не знаешь сладости мести!

— Мести? Признаться, не понимаю.

Хестер произнесла с необузданной страстью в голосе:

— Поверь, из нас двоих у меня меньше причин жаловаться. По крайней мере, если у него есть совесть, чего можно ожидать от божьего человека.

Я все более и более недоумевала. Должно быть, она это заметила, так как присела рядом со мной на грязной откидной койке:

— Наверно, если я хочу, чтобы ты что-нибудь поняла в моей истории, мне надо начать с самого начала.

Глубоко вздохнув, она поведала свою правду. Я жадно внимала каждому слову.

— На борту «Мейфлауэр» — первого судна, которое причалило к этому берегу, — было двое моих предков: отец моего отца и отец моей матери — двое непримиримых «отцов-пилигримов»,

которые отправлялись установить царство Бога Истинного. Ты знаешь, насколько опасны подобные проекты, поэтому я сразу перейду к жестокости, с которой были воспитаны их потомки. Благодаря этому они произвели множество преподобных отцов, читавших в подлиннике Цицерона, Катона, Овидия, Вергилия…

Я перебила ее:

— Никогда не слышала об этих людях!

Хестер подняла глаза к небу:

— Тем лучше для тебя! Я же имела несчастье принадлежать к семье, верящей в равенство полов, и в возрасте, когда самое правильное — игра с куклой, отец заставлял меня рассказывать произведения классиков наизусть! На чем я остановилась? Ах да! В шестнадцать лет меня выдали замуж за одного преподобного, друга нашей семьи, похоронившего трех жен и пятерых детей. У него был такой запах изо рта, что, к своему счастью, я теряла сознание всякий раз, стоило ему надо мной склониться. Все мое существо отвергало его, тем не менее он сделал мне четверых детей — которых Господу было угодно забрать из нашего мира. Господу и мне тоже — так как я оказалась не в силах любить детей от мужчины, которого ненавидела. Не стану скрывать от те-

бя, Титуба, что этому счастливому завершению способствовало количество микстур, отваров, очищающих и слабительных средств, принятых мной во время беременности.

Я прошептала себе под нос:

— И мне тоже пришлось убить своего ребенка!

— К счастью, больше года назад он отправился в Женеву обсуждать с другими кальвинистами задачу Избранных, и вот… И вот…

Хестер прервала рассказ, и я поняла, что, несмотря на все разглагольствования, она еще любит своего мучителя. Она снова заговорила:

— В мужской красоте есть что-то непристойное. Титуба, мужчины не должны быть красивыми! Два поколения Избранных, клеймившие позором Плоть и Удовольствие, породили это существо, неудержимо наводящее на мысли о плоти и удовольствии. Мы начали с того, что стали встречаться под предлогом обсуждения немецкого пиетизма[25]. Затем оказались в его кровати, где занимались любовью, и вот что из этого вышло!

Хестер обхватила живот руками. Я спросила:

---

[25] Сноски: 25

Изначально — движение внутри лютеранства, характеризующееся приданием особой значимости личному благочестию, религиозным переживаниям верующих, ощущению живого общения с Богом, а также ощущению постоянного нахождения под строгим и бдительным «Божьим оком».

— Что же теперь будет?

Она пожала плечами:

— Не знаю! Думаю, они ждут возвращения моего мужа, чтобы решить, что со мной делать.

Я настаивала:

— Какое наказание тебе грозит?

Она поднялась на ноги:

— Женщин, виновных в супружеской измене, больше не забрасывают камнями. Думаю, они носят на груди алую букву.

Настала моя очередь пожать плечами:

— Хорошо бы только это!

Но когда я увидела выражение ее лица, мне стало стыдно за свое легкомыслие. Это создание, такое же доброе, как и красивое, испытывало адские мучения. И снова передо мной была жертва, которую считали виновной! Неужели в этом мире женщины обречены на такое? Поискав средство возродить в ней надежду, я шепнула:

— Разве ты не беременна? Нужно жить ради своего ребенка.

Хестер решительно встряхнула головой:

— Просто нужно, чтобы она умерла вместе со мной. Я ее уже к этому приготовила, той ночью, когда мы с ней разговаривали. Знаешь, она нас сейчас слушает. Она только что постучала в дверь

моего живота, чтобы привлечь мое внимание. Знаешь, чего она желает? Чтобы ты рассказала историю! Историю твоей страны! Доставь ей удовольствие, Титуба!

Пристроив голову напротив этого мягкого подъема плоти, этого холма жизни, так, чтобы находящееся внутри маленькое существо оказалось у самых моих губ, я начала рассказывать сказку. Сами собой пришли слова из любимого ритуала, которые память всегда держала наготове, чтобы осветить то печальное место, куда нас заперли.

— Тим, тим, сухое дерево!

— Двор спит?

— Нет, двор не спит!

— Если двор не спит, тогда пускай он слушает, пускай слушает эту историю, мою историю. В давние времена, когда дьявол еще ходил в коротких штанишках, открывающих шишковатые, покрытые шрамами колени, жила в деревне Вагабаха на вершине остроконечного холма молодая девушка, у которой не было ни отца, ни матери. Хижину ее родителей унес шторм, а ее — вот чудо — оставил. Малышка плавала в своей колыбельке, будто Моисей, ходящий по водам. Она была одинокой и грустной. Однажды, когда она занимала свое место на скамейке в церкви,

она увидела стоявшего неподалеку от кафедры высокого негра в белой одежде из дрилла[26] и соломенной шляпе с черной лентой.

— Боже мой, почему женщины не могут обходиться без мужчин? Почему? Почему?

— Отец скончался, мать скончалась, мне нужен этот мужчина, иначе я тоже умру!

— А кстати, знаешь ли ты, хороший ли он, плохой ли, или это просто человек, раз кровь орошает его вены? Может быть, до самого его сердца течет какая-то вонючая вязкая жидкость?

— Отец скончался, мать скончалась, мне нужен этот мужчина, иначе я тоже умру!

— Хорошо, если ты его хочешь, ты его получишь!

И юная девушка покинула свою хижину, свое одиночество ради незнакомца в дырявой белой одежде, и понемногу ее жизнь превратилась в ад. Не можем ли мы оградить наших дочерей от мужчин?

Почувствовав тоску в моем голосе, Хестер прервала меня:

— Что за историю ты мне здесь рассказываешь,

---

[26] Сноски: 26

Очень прочная хлопчатобумажная ткань с диагональным переплетением. Иногда используют неотбеленной, иногда белят или окрашивают.

Титуба? Не свою ли? Скажешь мне? Скажешь?

Но что-то удержало меня от того, чтобы ответить.

Хестер научила меня, как подготовиться к даче показаний.

Подумать только, говорить с дочерью Преподобного, чтобы немного узнать о Сатане! Не преломила ли она с ним хлеб с самого детства? Не валялся ли он на ее перине в спальне без огня, уставившись на нее желтоватыми зрачками? Не он ли мяукал во всех черных котах? Квакал во всех жабах? И даже совершал обход в серых мышах?

— Напугай их, Титуба! Пускай получат страх за свои деньги! Опиши его в виде козла с орлиным клювом вместо носа, с телом, сплошь покрытым черной шерстью, и с поясом из скорпионьих голов. Пускай они трепещут, содрогаются, бледнеют! Пусть они пляшут под твою дудку, заслышав ее издалека! Опиши им сборища ведьм, куда каждая прилетает на метле, опиши, как у каждой изо рта стекает слюна при мысли о предстоящем пиршестве, где угощением будут новорожденные и нерожденные дети, которых они запьют доброй кружкой свежей крови…

Я рассмеялась:

— Ладно, Хестер, это же все так нелепо!

— Но пусть они в это поверят! Какая разница, просто опиши!

— Ты тоже советуешь мне изобличать?

Она нахмурилась:

— Кто тебе это посоветовал?

Я не ответила, она продолжила уже очень серьезно:

— Изобличать, изобличать! Если ты это сделаешь, ты рискуешь стать такой же, как они, — с нечистотами вместо сердца. Если какой-то определенный человек причинил тебе боль, отомсти, если это доставит тебе удовольствие. В противном случае оставь парить в воздухе облако сомнения, которому, поверь, они смогут придать форму. Когда придет время, ты воскликнешь: «Ах, я больше не вижу! Ах, я ослепла!» И дело будет в шляпе!

Я с яростью произнесла:

— Ах! Я отомщу за себя Саре Гуд и Саре Осборн, которые оговорили меня совершенно бесплатно!

Она рассмеялась.

— Точно! В любом случае они слишком отвратительны, чтобы жить! Давай же повторим урок еще раз. Как выглядит Сатана? Не забывай, что у него в запасе несколько личин. Вот почему за все те годы, что за ним гоняются, людям еще не

удалось его поймать. Иногда это мужчина, весь черный…

На этом я с беспокойством перебила ее:

— Если я так скажу, вдруг они подумают на Джона Индейца?

Хестер раздраженно пожала плечами; она так легко впадала в раздражение!

— Оставь ты меня в покое со своим несчастным супружником! Он не лучше моего. Разве он не должен быть здесь, чтобы разделить твои невзгоды? К мужчинам — неважно, черным или белым — жизнь слишком снисходительна!

Я старалась не говорить с Хестер о Джоне Индейце, так как слишком хорошо знала, что она этого терпеть не может.

Между тем что-то внутри меня подсказывало, что она говорит правду. Цвет кожи не причинил Джону Индейцу и половины тех горестей, что довелось претерпеть мне. Какими бы пуританками ни были местные дамы, они не упускали случая немного поворковать с ним:

— Джон Индеец, говорят, ты так хорошо поешь, и не только псалмы!

— Да, госпожа!

— Ну да, говорят, когда ты вскапывал землю Дикона Ингерсолла, ты одновременно пел и

танцевал…

И во мне рождалось недовольство, возможно, несправедливое!

Когда мы с Хестер не разучивали мои показания, то разговаривали о себе. О, как мне нравилось ее слушать!

— Я хотела бы написать книгу, но увы! Женщины не пишут! Только мужчины докучают нам своей прозой. Исключение я делаю лишь для некоторых поэтов. Ты читала Мильтона, Титуба? Ах да, я и забыла, ты не умеешь читать! *«Paradise Lost»*[27], Титуба, — это чудо из чудес! Да, я хотела бы написать книгу, где изложила бы пример общества, где руководят и управляют исключительно женщины! Мы давали бы детям свои фамилии, воспитывали бы их одни…

Я насмешливо перебила ее:

— Но мы все-таки не смогли бы сотворить их в одиночку!

Она опечалилась:

— Увы, нет! Потребуется, чтобы эти ненавистные скоты на мгновение приняли в этом участие…

Я поддразнивала ее:

---

[27] Сноски: 27
«Потерянный рай «(*англ.*).

— Мгновение — это слишком мало! Мне это занятие очень нравится!

Все заканчивалось тем, что она, смеясь, привлекала меня к себе.

— Тебе слишком по душе любовь, Титуба! Я никогда не сделала бы из тебя феминистку!

— Феминистку? А что это такое?

Сжав в объятиях, она покрывала меня поцелуями:

— Замолчи! Это я тебе позже объясню!

Позже? Будет ли у нас это «позже»?

Приближался день, когда нас должны были вернуть в Салем, чтобы мы предстали перед судом. Что же с нами будет?

Напрасно Хестер повторяла, что раскаявшейся ведьме закон Массачусетса дарует жизнь, мне все равно было страшно.

Иногда мой страх казался подобен ребенку в утробе матери. Он поворачивается справа налево и ударяет ногой. Иногда — злой птице, раздирающей мне печень своим клювом. Иногда он был как удав, который душил меня своими кольцами. Я слышала разговоры, что молитвенный дом Салема был увеличен, чтобы иметь возможность разместить не только горожан, но и жителей окрестностей, желающих присутствовать при та-

ком зрелище. Я слышала разговоры, что возведен специальный помост, на котором нас — Сару Гуд, Сару Осборн и меня — разместят, чтобы все могли вдоволь на нас насмотреться. Также я слышала, что уже назначены судьи — члены Верховного суда колонии, известные праведной жизнью и непримиримостью в вере: Джон Готорн и Джонатан Корвин.

На что же я могла надеяться?

Даже если мне оставят жизнь, что толку? Разве мы с Джоном Индейцем сможем освободиться от рабства и занять место на борту корабля, держащего курс на Барбадос?

Перед моим мысленным взором снова представал остров, который я считала потерянным! Земля не менее дикая, чем до этого. Холмы не менее зеленые. Тростники Конго — такие же фиолетовые, переполненные клейким соком. Изумрудный пояс на его талии — такой же атласный. Но мужчины и женщины там страдают. Они в бедственном положении. Только что на коньке изогнутой крыши повесили негра. Цветок и кровь смешиваются. Ах да, я и забыла, наше рабство не закончилось. Отрезанные уши, отрубленные руки, перерезанные подколенные сухожилия. Мы взрываемся в воздухе, будто фейерверк. Посмот-

рите на конфетти из нашей крови!

Когда я пребывала в таком настроении, Хестер ничего не могла для меня сделать. Напрасно она старалась изо всех сил, обращаясь ко мне с утешительными словами, я их не слышала. Тогда она вливала мне в рот немного рома — дар одного из полицейских, — и я понемногу погружалась в сон. Перед моим мысленным взором сменяли друг дружку Ман Яя и моя мать Абена. Обе нежно повторяли:

— Почему ты так дрожишь? Разве мы тебе не говорили, что ты станешь единственной, кто выживет?

Возможно. Но жизнь вызывала у меня столько же страха, сколько и смерть, особенно так далеко от близких.

Несмотря на дружбу Хестер, тюрьма произвела на меня неизгладимое впечатление. Этот мрачный цветок цивилизованного мира отравил меня своим ароматом; больше никогда я не смогу дышать как прежде. В мои ноздри проник запах такого множества преступлений — матереубийств, отцеубийств, изнасилований и краж, разнообразных жестокостей — и особенно запах стольких страданий.

29 февраля мы отправились в путь к деревне

Салем. Всю дорогу Сара Гуд докучала мне оскорблениями и проклятиями. По ее словам, одно лишь мое присутствие причинило Салему множество вреда.

— Негритянка, почему ты ушла из своего ада?

Я ожесточилась сердцем. Вот этой, о да, я отомщу без промедления!

3

Допрос Титубы Индеец.

— Титуба, с каким зловредным духом ты состоишь в дружбе?

— Ни с каким.

— Почему ты мучаешь детей?

— Я их не мучаю.

— Кто же их мучает?

— Полагаю, дьявол.

— Ты когда-нибудь видела дьявола?

— Дьявол пришел ко мне и приказал ему служить.

— Кого ты видела?

— Четырех женщин, которые иногда мучают детей.

— Кто они?

— Мне знакомы Сара Осборн и Сара Гуд. Остальных я не знаю. Сара Гуд и Сара Осборн хотели, чтобы я мучила детей, но я отказывалась. Там еще был мужчина из Бостона — высокий, очень высокий.

— Когда ты их видела?

— В последнюю ночь в Бостоне.

— Что они тебе велели?

— Они велели мне мучить детей.

— Ты их послушалась?

— Нет. Детей мучили эти четыре женщины и мужчина. Они легли на меня и сказали, что если я не буду мучить детей, они причинят мне боль.

— И тогда ты их послушалась?

— Да, но я больше не буду этого делать!

— Ты сожалеешь о том, что сделала?

— Да!

— Тогда почему ты это сделала?

— Потому что они мне велели мучить детей, иначе они снова причинят мне боль, еще сильнее.

— Кого ты видела?

— Пришел мужчина и велел мне ему служить.

— Каким образом?

— Мучая детей прошлой ночью. Там появлялся еще один, который приказал мне убить детей и, если я не подчинюсь, обещал причинить мне еще больше страданий.

— Каким он был?

— Иногда это был боров, а иногда крупный пес.

— Что он тебе говорил?

— Черный пес потребовал служить ему, но я сказала, что мне страшно, и тогда он заявил, что

если я ему не подчинюсь, он причинит мне еще больше страданий.

— Что ты ему ответила?

— Что больше не буду ему служить. И тогда он сказал, что причинит мне страдания. Став похожим на человека, он пригрозил, что причинит мне страдания. Еще у этого мужчины была желтая птица; он сказал, что у него есть много милых вещиц, которые он даст мне, если я буду ему служить.

— Каких милых вещиц?

— Он их мне не показал!

— Что ты увидела потом?

— Двух крыс — черную и рыжую!

— Что они тебе сказали?

— Служить им.

— Когда ты их видела?

— Прошлой ночью: они велели служить им, но я отказалась.

— Каким образом служить?

— Мучая детей.

— Ты не ущипнула Элизабет Хаббарт этим утром?

— Этот мужчина опустился на меня и приказал ущипнуть.

— Зачем прошлой ночью ты отправилась к

Томасу Патнаму и причиняла ли ты боль его дочери?

— Они потащили меня, они толкнули меня и заставили.

— Что ты должна была сделать, придя к нему?

— Убить ее ножом.

— Каким образом ты отправилась к Томасу Патнаму?

— На своей метле, они все были как я.

— Как ты смогла перемещаться со всеми этими деревяшками?

— Это не имеет значения[28].

— …

— …

Это длилось часами. Уверяю, я не была хорошей артисткой. Скопище всех этих белых лиц, колыхавшихся у моих ног, казалось мне морем, в которое я сейчас упаду и утону. Ах! Насколько лучше меня справилась Хестер! Она воспользовалась трибуной, чтобы во всеуслышание объявить о ненависти к обществу и, в свою очередь, проклясть обвинителей. Мне же было

---

[28] Сноски: 28

Эти выдержки взяты из показаний Титубы. Оригиналы документов судебных процессов находятся в архивах графства Эссекс. Копия находится в Эссексе, в окружном суде города Салема, штат Массачусетс. — *Прим. авт.*

просто-напросто страшно. Героические помыслы, подготовленные дома или в камере, словно улетели прочь.

— …

— …

— Видела ли ты в прошлую субботу, как женщина Гуд мучит Элизабет Хаббард?

— О да, я это видела. Она бросилась на ребенка, будто волк!

— Вернемся к мужчине, которого ты видела. В какой одежде он был?

— Во всем черном. Очень высокий, полагаю, с белыми волосами.

— А женщина?

— Женщина? Белая накидка с капюшоном и черный колпак с бантом наверху. Вот так она и была одета!

— Кого из тех, кто мучил детей, ты сейчас видишь?

С наслаждением и злобой я выпалила:

— Я вижу Сару Гуд.

— Только ее?

Тогда моя душа не желала подчиняться Сэмюэлю Паррису и оговаривать невинных. Вспомнив советы Хестер, я пролепетала:

— Сейчас я больше ничего не вижу! Я слепа.

После допроса ко мне пришел Сэмюэль Паррис:

— Хорошо, Титуба! Ты поняла, чего мы от тебя ждем.

Ненавижу себя так же, как ненавижу его.

4

Я не была свидетелем чумы, поразившей Салем, так как после дачи показаний меня держали прикованной в амбаре Дикона Ингерсолла.

Госпожа Паррис очень быстро раскаялась.

Она пришла ко мне и заплакала:

— Титуба, что они с тобой сделали? С тобой — лучшим из человеческих существ?

Я попыталась пожать плечами, но ничего не получилось, так как удерживавшие меня узы были тугими, и возразила:

— Две недели назад вы говорили совсем не это!

Она зарыдала с новой силой:

— Меня заставили, меня заставили! Теперь я вижу, что за этим скрывалось. Да: заговор Парриса и его сторонников, чтобы осквернять, разрушать…

Я прервала ее, поскольку от этого у меня не было лекарства, и спросила — вопреки всему голос прозвучал нежно:

— А Бетси?

Госпожа Паррис подняла голову:

— Я изъяла ее из этого ужасного карнавала и отправила к брату Сэмюэля Парриса, Стивену

Сьюэллу, который живет в городе Салеме. Он не такой, как Сэмюэль. Он-то добрый. Думаю, при нем наша маленькая Бетси восстановит здоровье. Перед тем как уехать, она поручила мне сказать тебе, что она тебя любит и просит ее простить.

Я ничего не ответила.

Затем госпожа Паррис рассказала мне, что происходит в деревне.

— Я могу сравнить это лишь с болезнью, которую сначала считают легкой, потому что она затрагивает лишь неважные части тела…

Неважные?

Верно, я — всего лишь рабыня-негритянка. Верно, Сара Гуд — нищенка. Настолько неимущая, что ей приходилось держаться подальше от молитвенного дома, потому что у нее не было подобающей одежды. Верно, у Сары Осборн — скверная репутация из-за того, что она слишком быстро приняла на своем вдовьем ложе работника-ирландца, прибывшего помогать ей по хозяйству. Но все-таки услышать, как нас хладнокровно называют такими словами, для меня было словно получить удар в сердце.

Никоим образом не догадываясь о чувствах, которые пробудила во мне, госпожа Паррис продолжила:

— …а затем постепенно поражает конечности и жизненно важные органы. Перестают действовать ноги, руки. В конце концов болезнь доходит до сердца, затем до мозга. Арестованы Марта Кори и Ребекка Нурс!

От изумления я открыла рот. Госпожа Ребекка Нурс! Но это же просто безумие! Если бы вера в бога могла принять облик человека, она предстала бы в виде этой женщины. Госпожа Паррис продолжила:

— Она растрогала самого судью Хатхорна, и первый суд присяжных вынес вердикт о невиновности. Но этого оказалось недостаточно, и ее отвезли в город, где она предстанет перед другим судом.

Ее глаза наполнились слезами:

— Моя бедная Титуба, это ужасно! Если бы ты видела Абигайль и Энн Патнам, особенно вторую, когда она каталась по земле, вопя, что бедная вдова мучает их, и умоляя сжалиться, твое сердце наполнилось бы ужасом и сомнением! А она, спокойная и безмятежная, читала псалом Давида:

Господь – Пастырь мой; Я ни в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных пажитях,

Он водит меня к водам тихим,
Он подкрепляет душу.

Слушая, какие опустошения творит зло в Салеме, я переживала за Джона Индейца.

Действительно, обвиняемые постоянно упоминали «черного мужчину», который заставлял их писать в своей книге. Разве чей-нибудь извращенный ум не попытается опознать в нем Джона Индейца? И не подвергнется ли тот, в свою очередь, преследованиям? Однако эта тревога казалась напрасной. В те редкие мгновения, когда он пересекал порог амбара, где я томилась, Джон Индеец казался мне вполне здоровым, выглядел хорошо накормленным; его одежда была чистой и выглаженной. Теперь он даже носил добротный шерстяной плащ, который закрывал все его тело и согревал. В памяти у меня снова возникали слова Хестер: «К мужчинам — неважно, черным или белым — жизнь слишком снисходительна!»

Однажды, когда я торопливо засыпала мужа вопросами, он произнес с некоторым раздражением в голосе:

— Не волнуйся ты так за меня!

Я настаивала, и тогда он бросил:

— С волками жить — по-волчьи выть, это я

умею!

— Что ты хочешь этим сказать?

Он в упор посмотрел на меня. Как же изменился мой мужчина! Он никогда не был ни особенно храбрым, ни особенно сильным и смелым, но всегда был любящим. Теперь же лицо его искажала гримаса хитрости, зловещим образом растягивая к вискам глаза и зажигая в них злобные коварные огоньки. Я снова пролепетала:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, моя не в меру чувствительная жена, что я не такой, как ты! Думаешь, только Абигайль, Энн Патнам и другие сучки умеют голосить, извиваться, падать замертво и вскрикивать: «Ах! Ты меня щиплешь, ты делаешь мне больно! Оставь меня!»

Несколько мгновений я смотрела на него, ничего не понимая. А потом меня осенило. Я прошептала:

— Джон Индеец! Ты что, тоже притворяешься, что тебя мучают?

Кивнув в знак согласия, он с важностью произнес:

— Несколько дней назад у меня был самый лучший час славы.

И он принялся по очереди изображать себя в

тот день, судей и сидящих полукругом девочек:

«– Джон Индеец, кто тебя мучит?

— Сперва это была госпожа Проктор, а затем госпожа Клойз.

— Что они тебе делают?

— Они приносят мне книгу.

— Джон Индеец, говори правду: кто тебя мучает?»[29]

— Потому что судья Томас Данфорт сомневался во мне так, как ни в ком до меня не сомневался. Грязный расист!

Я была убита горем. Мне стало стыдно. Но почему? Разве я сама не оказалась вынуждена солгать, чтобы спасти свою голову? И разве ложь Джона Индейца отвратительней моей?

Напрасно я повторяла себе все это; с того дня мои чувства к Джону Индейцу начали меняться. Мне показалось, он сговорился с моими мучителями. Кто знает? Если бы я сейчас оказалась на позорном помосте, окруженная всеобщим презрением и ужасом, преследуемая полными ненависти судьями, оглушенная притворными криками боли, разве он не смог бы закричать: «Ах, ах! Титуба меня мучает! О да! Моя жена, моя

---

[29] Сноски: 29

Показания Джона Индейца — архив графства Эссекс. — *Прим. авт.*

жена — ведьма!»

Сознавал ли Джон Индеец, что я к нему испытываю? Или тому была другая причина? Так или иначе, свидания он прекратил. Меня вернули в Ипсвич, и мы больше не виделись.

Приступаю к рассказу о дороге в Ипсвич. Жители окрестных деревень — Топсфилд, Беверли, Линн, Малден — торопились к обочине, чтобы увидеть, как я спотыкаюсь, привязанная к седлу лошади мощного сержанта Херика, и бросали в меня камнями. Голые деревья казались живыми крестами; моя Голгофа все не заканчивалась.

Чем дальше я продвигалась вперед, тем сильнее грудь мне разрывало жестокое, мучительное, невыносимое чувство.

Мне казалось, что я полностью исчезаю.

Я предчувствовала, что на судебных процессах над салемскими ведьмами, где протечет столько чернил и которые будут возбуждать любопытство и жалость будущих поколений, представ перед всеми как самое подлинное свидетельство легковерной и жестокой эпохи, мое имя будет обозначать лишь второстепенного участника, не представляющего интереса. Время от времени будут упоминать «рабыню с Антильских островов, по всей вероятности, занимавшуюся вуду».

Никого не станут заботить ни мой возраст, ни моя личность. Известность меня не ждет.

Начиная с конца века будут поступать жалобы, выноситься судебные решения, оправдывающие жертв, потомкам которых вернут имущество и честь. Но в числе оправданных меня не будет. Осуждена навсегда. Титуба!

Никакой, ни единой биографии, вдохновенно и бережно воссоздающей мою жизнь и мои страдания!

И эта будущая несправедливость меня возмущала! Сильнее, чем смерть!

Мы добрались до Ипсвича как раз вовремя, чтобы увидеть, как крутится на конце веревки тело женщины, обвиненной не знаю в каком преступлении, и услышать, как в собравшейся толпе говорят, что это хорошо и правильно.

Первое, что я сделала, войдя в тюрьму, это попросила, чтобы меня посадили в камеру с Хестер. Ах, она видела насквозь Джона Индейца! Это всего лишь горемыка без любви, без чести. Мои глаза наполнялись слезами, осушить которые могла лишь одна Хестер.

Но полицейский, тот самый любитель рома, не поднимая головы от своих списков и не переставая выводить там каракули, ответил мне, что это

невозможно. Я отчаянно настаивала:

— Почему же, почему, господин?

Он соизволил прервать свое занятие и посмотрел на меня.

— Это невозможно, потому что ее больше здесь нет.

Я стояла в полной растерянности; в голове теснилась тысяча догадок. Ее помиловали? Вернулся из Женевы муж и добился, чтобы ее освободили? Ее увезли в приют, чтобы она там родила? Я не знала срока ее беременности, но вполне вероятно, что настало время. Я едва смогла пролепетать:

— Господин, будьте так добры сказать мне, что с ней случилось. На этой земле нет души добродетельней ее!

Полицейский немного повысил голос:

— Добродетельная? Ну да, как же! Какой бы добродетельной она тебе ни казалась, сейчас это проклятая душа: она повесилась у себя в камере.

— Повесилась?

— Да, повесилась!

С воплями я ломилась в дверь чрева своей матери. С яростью и отчаянием я била кулаком, проламывая карман ее вод. Я захлебывалась и задыхалась в этой жидкой черноте. Я хотела там утонуть.

Повесилась? Хестер, Хестер, почему ты меня не подождала?

Мама, неужели нашим мучениям не будет конца? А раз это так, я никогда не выйду на свет. Я останусь таиться в твоих водах, глухая, немая, слепая, скользя по стенке. Я прицеплюсь к ней так хорошо, что ты никогда не сможешь меня извергнуть наружу и я уйду в землю вместе с тобой, не познав проклятия дня. Мама, помоги мне!

Повесилась? Хестер, я ушла бы вместе с тобой!

После многочисленных обсуждений меня отвезли в больницу города Салема, так как в Ипсвиче не было ничего подходящего. В первое время я не различала день и ночь. Они перепутались в одном и том же круге горя и боли. Мне оставили цепи, опасаясь не того, что я наложу на себя руки, что показалось бы всем счастливым завершением, а того, что в припадке ярости нападу на кого-то из своих братьев по несчастью. Ко мне пришел некий доктор Зеробабель, который изучал психические заболевания и надеялся, что его назначат преподавать в Гарвардском университете. Он распорядился, чтобы на мне опробовали одну из таких микстур:

«Взять молоко женщины, которая кормит младенца мужского пола. Также взять кота и отрезать

ему ухо или часть уха. Сделать так, чтобы кровь стекала в молоко. Поить пациентку этой смесью. Три раза в день».

Было ли это действием лекарства? В конце концов я перешла от состояния крайнего возбуждения к оцепенению, которое сочли началом выздоровления. Я открыла глаза, которые упорно держала закрытыми. Я согласилась, чтобы меня покормили. Тем не менее я не могла произнести ни слова.

Так как мое содержание в больнице было слишком дорого для того, чтобы город Салем, которому я не принадлежала, его оплачивал, меня снова отправили в тюрьму. Там я встретила множество лиц, которые показались мне незнакомыми, словно все, что предшествовало смерти Хестер, стерлось из памяти.

Однажды утром, не знаю почему, ко мне вернулись речь и память. Я стала интересоваться тем, что происходит вокруг меня. Я узнала, что Сара Осборн умерла в тюрьме, но не почувствовала ни малейшей жалости.

В тот период меня не покидало искушение покончить с собой. Казалось, что Хестер показала пример, которому я должна последовать. Увы! На это мне не хватало мужества.

Мне так и не удалось понять, почему меня перевезли из тюрьмы Ипсвича в тюрьму Салема. Во время уже далекой поездки с Сэмюэлем Паррисом и его семьей город произвел на меня довольно приятное впечатление. Узкий полуостров, зажатый между двумя медлительными реками, соперничал с Бостоном; его пристани были до отказа заполнены кораблями. Однако там — и мое состояние позволяло это заметить — над домами словно парило в воздухе облако тусклой суровости. Мы прошли мимо школы, перед которой был двор, где печальные наказанные мальчишки ждали, когда учителя их высекут. Посреди Корт-стрит[30] возвышалось массивное здание, камни для строительства которого были за большие деньги привезены из Англии; там осуществлялось правосудие мужчин. Под его арками стояла толпа сумрачных молчаливых людей. Сама тюрьма оказалась черным зданием с крышей из соломы и бревен; дверь ее была обита железными листами.

---

[30] Сноски: 30
Судебная улица (*англ.*).

5

Я часто думаю о ребенке Хестер и о моем ребенке. О нерожденных детях. Детях, которым ради их блага мы когда-то отказали в дневном свете и солоноватом вкусе солнца. Детях, которым мы оказали милость, но которых, как ни странно, я оплакиваю. Мальчики или девочки, разве это важно? Им обоим я пою старую жалобную песню.

Мой лунный камень упал в воду,
В воду реки.
И мои пальцы не могут его найти.
Бедная я, бедная!
Лунный камень упал.
Сидя на скале у реки,
Плачу и горюю.
Ах! Нежный сверкающий камень,
Ты мерцаешь глубоко под водой.
Пришел охотник
Со стрелами и колчаном.
Красавица, красавица, почему ты пла-

чешь?

Я плачу, потому что лунный камень

Лежит на дне реки.

Красавица, красавица, если причина только в этом,

Я сейчас тебе помогу.

Нырнул охотник и утонул.

Хестер, мое сердце разбивается!

Однажды утром, будто желая поиздеваться надо мной, ко мне в камеру ввели маленькую девочку. Сперва мои затуманенные страданиями глаза ее не различили. Затем память вернулась ко мне. Доркас Гуд! Это была маленькая Доркас, примерно четырех лет от роду; я все еще будто видела, как она прячется в грязных юбках матери, пока полицейский не растащил их.

Шайка малолетних сучек обвинила ее, а мужчины сковали железными цепями предплечья, запястья и лодыжки этого невинного ребенка. Я была чересчур поглощена собственным несчастьем, чтобы обращать внимание на несчастья других. Но все же при виде этой девочки мне на глаза навернулись слезы. Доркас посмотрела на меня и сказала:

— Ты знаешь, где моя мама?

Мне пришлось сказать, что не знаю. Может быть, ее уже казнили? Из ходивших по тюрьме слухов я знала, что она родила другого ребенка, мальчика. Как сына дьявола его вернули в ад, которому он принадлежал. Ничего больше мне было не известно.

Отныне свою семейную песню «Мой лунный камень упал в воду» я пела и для Доркас — ребенка женщины, которая так отвратительно меня обвинила.

6

Опустошавшая Салем чума быстро распространилась на другие деревни, другие города. К свистопляске по очереди присоединялись Эмсбери, Топсфилд, Ипсвич… Подобно охотничьим псам, возбужденным запахом крови, полицейские пробирались по тропинкам и деревенским дорогам, выслеживая тех, кого не переставала обвинять шайка наших малолетних сучек, словно обретших способность находиться в нескольких местах одновременно. Из ходивших в тюрьме слухов я знала, что детей было арестовано так много, что их пришлось разместить в поспешно возведенном бревенчатом здании с соломенной крышей. По ночам от криков и шума остальные обитатели тюрьмы не могли уснуть. Меня выгнали из камеры, чтобы освободить место для обвиняемых, которые все же заслуживали крышу над головой. Теперь из тюремного двора я видела, как отправлялись шатавшиеся телеги с осужденными. Некоторые женщины держались очень прямо, словно хотели бросить вызов своим судьям. Некоторые, наоборот, скулили от ужаса и как дети умоляли дать им пожить еще день, еще

час. Я видела, как Ребекка Нурс отправляется в Галлоуз Хилл, и на этот раз вспомнила, как она дрожащим голосом шепнула: «Ты не можешь мне помочь, Титуба?»

Как я жалела, что тогда ее не послушалась; теперь враги торжествуют над ней. Из ходивших по тюрьме слухов я узнала, что те же самые Готорны спустили на нее стадо свиней. Она цеплялась за решетку телеги, ее взгляд был устремлен в небо, будто она пыталась осознать происходящее.

Я видела, как прошла Сара Гуд, которую держали в другом здании, отдельно от дочери, но это не помешало ей сохранить наглый и насмешливый вид. Посмотрев на меня, привязанную к столбу, словно зверь, она бросила:

— А знаешь, я предпочитаю свою участь твоей!

После казней 22 сентября я вернулась в тюрьму.

Откидная койка, на которой я растянулась, показалась мне самой пушистой из перин. Той ночью я увидела во сне Ман Яя в ожерелье из цветов магнолии. Она повторила мне свое обещание: «Из всего этого ты выберешься живой». Я едва не спросила: «Чего ради?»

Время над нашими головами все тянулось и тянулось.

Так странно, что человек отказывается признаться в собственном поражении!

По тюрьме стали ходить легенды. Друг дружке шепотом передавали, что дети Ребекки Нурс, пришедшие на закате солнца вытащить тело матери из выгребной ямы, куда палач его бросил, нашли только ароматную белую розу. Шептались, что судья Нойес, вынесший обвинительный приговор Саре Гуд, недавно таинственным образом умер, захлебнувшись потоками крови. Рассказывали, что семьи обвинителей поразила странная болезнь, очень многих отправившая на тот свет. Говорили. Рассказывали. Приукрашивали. Это порождало тихий шум голосов, упрямый и нежный, будто шепот морских волн.

Возможно, эти слова и помогали держаться женщинам, мужчинам и детям. Помогали им вращать каменные жернова жизни. Тем не менее первое событие смутило умы. Если все более или менее привыкли к виду шатающихся телег с осужденными, то новость, что Жиля Кори задавили до смерти, вызвала совершенно особенный ужас. Я никогда не испытывала большой симпатии к его жене, госпоже Марте. Особенно к ней, так как у нее была скверная привычка осенять себя крестом всегда и всюду, где бы она меня ни

встретила. Я бы не ощутила никакого волнения, узнав, что Жиль свидетельствовал против нее. Разве мой Джон Индеец тоже не предал меня, присоединившись к лагерю обвинительниц?

Но весть о том, что этого старика — обвинителя, ставшего обвиняемым — повалили на спину перед судьями, которые приказывали складывать ему на грудь все более и более тяжелые камни, вызывала сомнение в природе тех, кто нас осуждал. Где же Сатана? Не прячется ли он в складках судейских одеяний? Не говорит ли он голосом юристов и церковных деятелей?

Рассказывали, что Жиль открывал рот лишь для того, чтобы требовать все более и более тяжелых камней, чтобы приблизить свой конец, сокращая время страданий. Вскоре мы начали петь:

Кори, о Кори,
Камни для тебя без веса,
Камни все тебе
Перья на ветру.

Вторым событием, затмившим ужас первого, стал арест Джорджа Берроу. Я уже говорила, что Джордж Берроу был в Салеме пастором до Сэмюэля Парриса и так же, как мой хозяин, с огромным

трудом обеспечил соблюдение условий своего договора. Одна из его жен и почила в спальне на втором этаже нашего дома, пока ее душа совершала большое путешествие. Известие, что его — духовное лицо — могут обвинить в том, что он является любимцем Сатаны, повергло всю тюрьму в горестное изумление.

Бог, тот бог, ради любви к которому они покинули Англию, ее леса и луга, отвернулся от них.

Между тем в начале октября стало известно, что губернатор колонии — губернатор Фипс — написал в Лондон, испрашивая указаний, как вести судебный процесс по делу о колдовстве. Вскоре после этого стало известно, что суд, назначенный для этого дела, больше не соберется. Будет учрежден другой, члены которого имели бы меньше оснований для подозрений в сговоре с родственниками обвинительниц.

Должна сказать, что ко мне все это почти не относилось. Я знала, что, в отличие от всех остальных, осуждена на жизнь!

7

Желаю будущим поколениям жить в те времена, когда государство станет покровителем своих граждан и возьмет на себя заботу об их благополучии.

В 1692 году, когда случилась эта история, ничего такого не было. В тюрьме, как и в больнице, мы не находились на полном содержании государства, и требовалось, чтобы каждый — виновный или невиновный — возмещал как расходы, связанные с его содержанием, так и стоимость своих цепей.

Как правило, обвиняемые были обеспеченными людьми, владельцами земель и ферм, которые можно заложить. Поэтому им было нетрудно удовлетворять требования колонии. Так как Сэмюэль Паррис очень рано дал понять, что не намерен ничего на меня тратить, начальник полиции придумал, как не оказаться в убытке. Поэтому он и решил отослать меня на кухню.

Даже самая испорченная еда всегда слишком хороша для узника. Во двор тюрьмы на санях привозили овощи, сладковатый запах которых не оставлял никаких сомнений относительно их состояния. Почерневшая капуста, зеленоватая

морковь, сладкий картофель, покрытый тысячью ростков, испорченные долгоносиком початки кукурузы, купленные у индейцев за полцены. Раз в неделю, по субботам, заключенным оказывали милость в виде бычьих костей, отваренных в большом количестве воды, и нескольких сушеных яблок. Готовя эту жалкую еду, я помимо воли отыскивала в памяти старые рецепты. В занятиях стряпней имеется то преимущество, что разум остается свободным, в то время как руки хлопочут, полные изобретательности, которая принадлежит только им и занимает только их. Я мелко нарезала всю эту гниль. Приправляла веточкой мяты, случайно выросшей между двумя камнями. Добавляла все, что могла извлечь из тошнотворного пучка лука. Я преуспела в приготовлении лепешек; хоть и жесткие, от этого они не становились менее вкусными.

Как создаются репутации? Вскоре — вот ведь удивительно! — меня назвали превосходной поварихой. Теперь приходили, чтобы заказать мои услуги для свадеб и банкетов.

Я сделалась привычной фигурой, бродившей по улицам Салема и входившей через заднюю дверь домов или гостиниц. Когда я шла следом за звяканьем своих цепей, женщины и дети выходили

на пороги, чтобы посмотреть на меня. Насмешки или оскорбления я слышала редко. По большей части ко мне испытывали сострадание.

Я завела привычку пробираться к морю, оставаясь почти невидимой между корпусами бригантин, шхун и других кораблей.

Море — вот что меня исцелило.

Его большая влажная рука поперек моего лба. Его испарения в моих ноздрях. Его горькое снадобье на моих губах. Понемногу я собирала себя воедино по кусочкам. Понемногу я снова начинала надеяться. На что? Я точно не знала. Но во мне просыпалось предчувствие, нежное и слабое, будто утренняя заря. Из тюремных слухов я узнала, что Джон Индеец — в первом ряду обвинителей, что он подыгрывает девочкам — этому наказанию божьему — крича, как они, кривляясь, как они, обличая громче и сильнее их. Я узнала, что это он, до Энн Путнам или Абигайль, обнаружил на мосту Ипсвича ведьму под лохмотьями нищенки. Поговаривали даже, что он признал Сатану в облаке над осужденными, не менявшем форму.

Было ли мне больно слышать все это?

В мае 1693 года губернатор Фипс, получив согласие из Лондона, объявил всеобщую амнистию.

Перед обвиняемыми Салема открылись двери тюрем. Отцы снова обрели детей, мужья — жен, матери — дочерей. Я же — никого. Эта амнистия ничего не изменила. Моя судьба не заботила никого.

Ко мне пришел Нойес, начальник полиции:

— Знаешь, сколько ты должна колонии?

Я пожала плечами.

— Как я об этом узнаю?

— Все подсчитано!

Он стал перелистывать страницы книги:

— Видишь, это здесь! Семнадцать месяцев тюрьмы по два шиллинга шесть пенсов в неделю. Кто мне это оплатит?

Показав жестом, что мне это неизвестно, я, в свою очередь, спросила:

— Что будем делать?

Он проворчал:

— Искать кого-нибудь, кто заплатит причитающиеся суммы и тем самым получит тебя в услужение!

Я невесело рассмеялась:

— Кто же захочет купить ведьму?

Он цинично ухмыльнулся.

— Человек в стесненных обстоятельствах. Знаешь, почем нынче негры? По двадцать пять

ливров!

На этом наш разговор прервался. Но теперь я знала, какая судьба меня ожидает. Новый хозяин. Новое рабство.

Я начала всерьез сомневаться в основном убеждении Ман Яя, согласно которому жизнь — это дар. Жизнь была бы даром, если бы каждый мог выбрать чрево, которое его выносит. Так вот, быть ввергнутой в тело нищенки, эгоистки, стервы, которая отомстит за все горести своей жизни, за то, что принадлежит к когорте тех, кого используют, униженных, тех, кому навязывают имя, язык, верования, — какая же это Голгофа! Если мне когда-нибудь предстоит снова родиться, пусть это будет в стальной армии завоевателей!

После того разговора с Нойесом каждый день приходили какие-то незнакомцы и меня разглядывали. Они осматривали мои десны и зубы. Щупали мои живот и грудь. Поднимали мои лохмотья, чтобы осмотреть ноги. А затем заявляли с недовольной гримасой:

— Она такая худая!

— Ты говоришь, ей двадцать пять. На вид только пятнадцать.

— Мне не нравится ее цвет!

Однажды я приглянулась одному мужчине.

Господи боже, какому мужчине! Маленький, с искривленной спиной и горбом, торчавшим на высоте левого плеча. Лицо цвета баклажана было наполовину скрыто большими рыжими бакенбардами, переходившими в остроконечную бородку. Нойес презрительно шепнул мне:

— Это еврей, торговец, говорят, очень богатый. Он мог бы оплатить целый корабль черного дерева, и вот торгуется из-за той, по кому виселица плачет.

Я не поняла, что в этих словах содержалось для меня оскорбительного. Торговец? Который наверняка имеет дело с Антильскими островами? С Барбадосом?

Поэтому я посмотрела на еврея с восхищением, словно его омерзительное уродство уступило место самой представительной и обольстительной наружности, какая только может быть. Не олицетворял ли он ту возможность, о которой я мечтала?

Я преобразилась; в моих глазах читалась такая надежда и такое желание, что, очевидно, неправильно поняв меня, он развернулся и, хромая, ушел. Как я только что заметила, правая нога у него была короче левой.

Ночь, ночь, ночь прекраснее дня! Ночь, которая

приносит нам мечты! Ночь, то обширное место встречи, где настоящее берет за руку прошлое, где смешиваются мертвые и живые!

В камере, где оставались только несчастная Сара Дастон, слишком старая и слишком бедная, которой, несомненно, предстояло закончить жизнь в этих стенах, Мэри Уоткинс, которая ожидала возможного хозяина, и я, никому не нужная, мне удалось собраться с силами, чтобы призвать Ман Яя и свою мать Абену. Молить, чтобы, объединив силы, они помогли мне оказаться у этого торговца, взгляд которого говорил мне, что этот человек тоже знаком со страной страданий и что — я не могла определить, каким образом — мы были бы, могли бы быть на одной стороне.

Барбадос!

В предыдущие периоды жизни, когда я была сперва полна ярости, а затем одурманена болезнью, я совсем не думала о родной земле. Но после того как частички моего существа начали пусть непрочно, но склеиваться воедино, воспоминания о ней возродились во мне снова.

Тем не менее новости о родине, которые до меня доходили, не были хорошими. Там прочно воцарились страдание и унижение. Презренное стадо негров не переставало вращать колесо

несчастья. Теребилка для волокон, мельница, вместе с тростником — мое предплечье, и пусть моя кровь окрасит сладкий сок!

И это было еще не все!

Каждый день другие острова вокруг него были открыты для потребностей белых; я знала, что теперь в южных колониях Америки наши руки ткут длинные хлопковые саваны.

В ту ночь мне приснился сон.

Мой корабль входил в порт, его парус надут моим нетерпением. Стоя на пристани, я смотрела, как его просмоленный корпус рассекает воду. У подножия одной из мачт я различила какую-то фигуру, которую не смогла назвать. Однако я знала, что она приносит мне радость и счастье. Через сколько времени познаю я эту передышку? Этого я не могла понять. Я знала, что судьба — это старик. Он идет мелкими шагами. Он останавливается, чтобы отдышаться. Он возвращается. Он снова останавливается. В свое время он достигает цели. Тем не менее меня наполняла уверенность, что самое мрачное уже позади и теперь я могу передохнуть.

В ту ночь ко мне пришла Хестер и улеглась рядом со мной, как иногда делала. Положив голову на ее щеку, подобную безмятежной водяной

лилии, я прижалась к ней.

Меня буквально затопили нежность и наслаждение, что удивительно. Можно ли испытывать такие чувства, прижавшись к телу, которое подобно твоему? Наслаждение для меня всегда имело форму другого тела, впадины которого так хорошо подходили моим выпуклостям, а выступы гнездились в нежных равнинах моей плоти. Не показала ли мне Хестер путь другого наслаждения?

Тремя днями позже пришел Нойес и открыл дверь моей камеры. У него за спиной, в его тени мельтешил еврей, более рыжий и неустойчивый, чем когда-либо. Нойес вытолкнул меня во двор тюрьмы; там кузнец — крепкий мужчина в кожаном фартуке — бесцеремонно раздвинул мне ноги так, чтобы они оказались по обе стороны деревянного чурбачка. Затем под ударом кувалды, нанесенным с ужасающей ловкостью, мои цепи разлетелись на куски. То же он под мой крик проделал с моими запястьями.

Я кричала, так как кровь, которая в течение стольких недель держалась в стороне от моих мышц, снова заполняла их, вонзая тысячу жал, тысячу огненных игл.

Я выла, и этот вой, будто вырывающийся из

горла объятого ужасом новорожденного, приветствовал мое возвращение в мир. Я должна была снова научиться ходить. Лишенной цепей, мне не удавалось найти равновесие, поэтому я шаталась, будто крепко выпившая. Я должна была снова научиться говорить, общаться с подобными себе и больше не довольствоваться редкими односложными словами. Мне предстояло снова научиться смотреть собеседникам в глаза. Держать в порядке волосы — гнездо змей, шипевших у меня вокруг головы. Натирать мазями свою сухую потрескавшуюся кожу, похожую на плохо выдубленную шкуру.

Родиться два раза — такая неудача случается с очень немногими.

8

Бенджамин Коэн Д'Азеведо, еврей, который только что меня купил, во время эпидемии коклюша потерял жену и младших детей. Но все же у него оставалось пять дочерей и четверо мальчиков, для которых очень срочно надобилась женская рука. Не намереваясь снова заключить брак, как это делали все мужчины колонии, он предпочел прибегнуть к услугам рабыни.

Итак, я стояла почти перед десятком детей всех размеров. У некоторых волосы были черными, как сорочий хвост, у некоторых рыжие, как у их отца. У всех, однако, была одна особенность: ни один не знал по-английски ни слова. Действительно, семья Бенджамина была родом из Португалии, откуда бежала в Голландию во время религиозных преследований. Там ветвь семьи перебралась в Бразилию — если придерживаться точности, в Ресифи — откуда ей снова пришлось бежать, когда город оказался захвачен португальцами. После этого семья разделилась надвое; один клан собрался поселиться в Кюрасао, другой же решил попытать счастья в американских колониях. И это незнание английского, эта непре-

кращающаяся болтовня по-еврейски или на португальском демонстрировали, насколько это семейство равнодушно ко всему, что не является ни их собственным несчастьем, ни одной из многочисленных горестей евреев по всей земле. Интересно, был ли Бенджамин Коэн Д'Азеведо осведомлен о процессе над салемскими ведьмами и не по причине ли этого неведения он пришел в тюрьму. Во всяком случае, если он и знал об этом печальном деле, то отнес его на счет здешней жестокости; как ему казалось, отличительной черты тех, кого они называют язычниками, и это полностью оправдывало меня в его глазах. А значит, в определенном смысле лучшего места для меня и быть не могло.

Единственными посетителями Бенджамина Коэна Д'Азеведо были несколько других евреев, украдкой приходивших вместе с ним справлять субботний ритуал. Я узнала, что ранее они испрашивали разрешения устроить синагогу, но им было отказано. И вот они прижимались друг к другу в комнате просторного особняка перед подсвечником на семь свечей и монотонно произносили какие-то непонятные слова. Накануне таких дней свет зажигать было не нужно; целая куча детей ела, умывалась и ложилась спать в

полной темноте.

Бенджамин Коэн Д'Азеведо состоял в переписке и рабочих отношениях с другими Коэнами, с Леви или Фазерами, жившими то ли в Нью-Йорке, который он упорно называл Новым Амстердамом, то ли в Род-Айленде. Он зарабатывал на жизнь торговлей табаком вполне достаточно и совместно с компаньоном и другом Джудой Монисом владел двумя кораблями, ходившими в море. Этот человек, должно быть, обладавший значительным состоянием, оказался совершенно лишен тщеславия; сам кроил себе одежду из кусков ткани, поступавшей из Нью-Йорка, и питался хлебом без соли и овсянкой. На следующий день после моего прибытия к нему на службу он протянул мне плоский флакон и хрипло произнес:

— Его приготовила моя покойная Абигайль. Это сильное лекарство поставит тебя на ноги.

И ушел, опустив глаза, словно устыдившись доброты своего сердца. В тот же день он принес мне немного необычные предметы одежды из темного сукна.

— Держи, они принадлежали моей покойной Абигайль. Я знаю: там, где она сейчас, она возрадуется, что ты их носишь.

Друг к другу нас подтолкнула именно покой-

ная.

Начала она с того, что соткала между нами сеть из небольших проявлений благосклонности, мелких услуг, незначительных случаев признательности. Бенджамин разрезал прибывший с островов апельсин на две части — для Метахебель, свой старшей дочери, и для меня, приглашал выпить с его друзьями стаканчик теплого вина из Порто и набрасывал на плечи дополнительное одеяло, когда ночь в моей каморке становилась слишком холодной. Я же аккуратно гладила рубашки из грубой ткани, чистила и подкрашивала его плащ, позеленевший от долгой носки, клала ему в молоко побольше меда для вкуса. В день первой годовщины смерти его супруги я заметила, что он пребывает в таком отчаянии, что не удержалась и потихоньку подошла к нему:

— Знаешь ли ты, что смерть — это всего лишь проход, дверь которого остается широко открытой?

Он недоверчиво посмотрел на меня. Набравшись храбрости, я шепнула:

— Хочешь поговорить с ней?

Его глаза закатились. Я приказала:

— Этим вечером, когда дети уснут, встретимся в саду, где яблони. Раздобудь у своего друга овцу

или, если не получится, что-нибудь из домашней птицы, шохет[31].

Признаться, моя кажущаяся уверенность не соответствовала тому, что я чувствовала. Я так долго не упражнялась в своем искусстве! В темноте тюремной камеры, среди подруг по несчастью, лишенная любого природного помощника, я ни разу не смогла пообщаться со своими невидимыми, кроме как во сне. Хестер навещала меня регулярно, моя мать Абена и Ман Яя — пореже. Но Абигайль не нужно переходить воду. Я была уверена, что она недалеко, не смогла далеко уйти от мужа и особенно от горячо любимых детей. Несколько молитв и жертва, принесенная по всем правилам ритуала, заставят ее появиться. И бедное сердце Бенджамина утешится.

Около десяти часов Бенджамин присоединился ко мне под цветущим деревом. Он тащил овцу в безупречно белой шубке и с красивыми глазами, полными смирения. Я уже начала читать свои молитвы и ожидала, когда еще полусонная луна пробудится, чтобы сыграть свою роль в церемонии. В решительный момент мне стало страшно, но тут я почувствовала, как моей шеи коснулись

[31] Сноски: 31

Резник, совершающий убой скота и птицы в соответствии с ритуальными предписаниями иудаизма.

чьи-то губы. Я поняла, что это Хестер: она появилась, чтобы придать мне храбрости.

Кровь залила землю, ее резкий запах проник нам в горло.

Спустя некоторое время, показавшееся мне бесконечным, возник какой-то смутный силуэт, а потом к нам подошла миниатюрная женщина с очень бледным лицом и очень черными волосами. Бенджамин упал на колени.

Из скромности я отошла в сторону. Разговор между двумя супругами продолжался довольно долго.

Отныне каждую неделю я давала возможность Бенджамину Коэну Д'Азеведо снова увидеть ту, которую он потерял и о которой так жестоко сожалел. Обычно это происходило в воскресенье вечером, когда последние друзья, приходившие обменяться новостями о евреях, разбросанных по всему миру, уходили после чтения отрывка из их священной книги. Думаю, Бенджамин и Абигайль говорили о том, как идут их дела, о воспитании детей, о тревогах, которые те вызывают. Особенно самый младший, Мозес, который лезет общаться с язычниками и хочет говорить на их языке. Повторю: должно быть, потому, что этот обмен мнениями происходил по-еврейски,

я вслушивалась в мрачные звуки этой речи с некоторой тревогой.

Через месяц Бенджамин попросил у меня разрешения взять на эти встречи старшую дочь Метахебель.

— Ты представить себе не можешь, что значила для нее смерть матери. Разница в возрасте между ними составляла всего семнадцать лет, и Метахебель была привязана к Абигайль, как сестра. В последнее время моя любовь стала их путать. У них одинаковый смех, одинаковые темные косы, обернутые вокруг головы; бледная кожа обеих распространяет одинаковый аромат. Титуба, когда я вижу, что бог разлучает ребенка с матерью, мне случается усомниться в нем. Усомниться в боге! Видишь, я не хороший еврей!

Разве у меня хватило духа отказать?

Тем более что из всех детей Метахебель была моей самой любимой. Такой нежной, что дрожишь при одной мысли, что может сделать с ней жизнь — капризная и неосторожная мегера. Такой заботливой к другим. Немного владевшая английским, она говорила мне:

— Почему у тебя в глубине зрачков такие тучи, Титуба? О чем ты думаешь? О близких, что в рабстве? Разве ты не знаешь, что бог благословляет

страдания и что именно так он узнает своих?

Но эти слова о вере не доставляли мне удовлетворения; я качала головой.

— Метахебель, не пора ли жертвам сменить лагерь?

Теперь, дрожа от холода в саду, мы ожидали появления Абигайль уже втроем. Первыми побеседовали друг с другом супруги. Затем дочь подошла к матери. Они остались наедине.

Почему любые отношения между женщиной и мужчиной, хоть немного окрашенные чувствами, в конце концов должны воплощаться в кровати? Не могу это осознать.

Как Бенджамин Коэн Д'Азеведо, так занятый воспоминаниями о покойной, и я, неблагодарная, соскользнули на путь ласк, объятий, удовольствия, которое отдаешь и получаешь?

Думаю, когда это произошло с нами впервые, он был удивлен еще больше меня, так как считал свой член чем-то вроде негодной к употреблению домашней утвари и удивился, заметив, что тот — пылающий, жесткий, проникающий и обильно заполненный соком. Он был удивлен и очень пристыжен; он, внушавший своим сыновьям ужас перед грехом блуда. Он отодвинулся, бормоча слова извинения, которые были сметены

новой волной желания.

Отныне я жила в странном положении — одновременно и любовница, и служанка. День не приносил мне отдыха. Надо было чесать шерсть, прясть, будить детей, помогать им умываться, одевать их, приготовлять мыло, стирать, гладить, окрашивать, чинить предметы одежды, простыни, одеяла и даже ставить новые подметки на обувь. При этом надо было не забыть натопить сала для свечей, накормить животных и поддерживать дом в порядке. По религиозным причинам я не готовила еду, этим занималась Метахебель; мне не нравилось, что ее юность проходит за домашними работами.

Вечером Бенджамин Коэн Д'Азеведо присоединялся ко мне в каморке, где я ночевала на кровати с медными столбиками. Признаться, пока он снимал одежду и я видела его искореженное тело воскового цвета, я не могла не думать о темном мускулистом теле Джона Индейца. К горлу у меня поднимался комок боли, я изо всех сил пыталась задушить свои рыдания. Однако это продолжалось недолго; со своим притворным любовником я ничуть не хуже дрейфовала по морю наслаждения. Однако самыми сладкими были те минуты, когда мы говорили. О нас. Только о нас.

— Титуба, ты знаешь, что такое быть евреем? С 629 года франкские Меровинги приказали выслать нас из своего королевства. После Первого собора папы Иннокентия III евреи должны были носить на одежде круглую метку и не ходить с непокрытой головой. Перед тем как Ричард Львиное Сердце отправился в крестовый поход, он скомандовал общее наступление на евреев. Знаешь ли ты, сколькие из нас потеряли жизнь по вине инквизиции?

Не оставаясь в долгу, я прерывала его:

— А мы? Знаешь ли ты, сколькие из нас обливаются кровью по побережьям Африки?

Но он продолжал:

— В 1298 году все евреи Рёттингена были убиты; волна убийств распространилась на Баварию и Австрию… В 1336 году наша кровь проливалась от Рейна до Богемии и Моравии!

Он со всего размаха стукался об меня.

Однажды ночью, когда наше соитие оказалось более неистовым, чем обычно, Бенджамин страстно прошептал:

— Титуба, в глубине твоих глаз все время какая-то тень. Что я могу тебе дать, чтобы ты была счастлива или почти счастлива?

— Свободу!

Слова вылетели так быстро, что я не успела их удержать. Он внимательно посмотрел на меня огорченным взглядом:

— Свободу! Но что ты с ней сделаешь?

— Займу место на одном из ваших кораблей и сразу же уплыву к себе на Барбадос.

Его лицо застыло, я едва узнала Бенджамина:

— Никогда, слышишь, никогда: если ты уедешь, я потеряю ее во второй раз. Никогда больше не говори мне об этом.

Мы об этом больше никогда не говорили. Разговоры на подушке имеют не больше значения, чем сны, и отличаются той особенностью, что могут легко забываться.

Мы вернулись к своим привычкам там, где их оставили. В этой еврейской семье я понемногу освоилась. Я научилась кое-как говорить по-португальски. Я живо интересовалась историями о принятии в гражданство; меня раздражало, когда мелочность губернатора делала это трудным, если не вовсе невозможным. Я весьма интересовалась историями о строительстве синагоги и научилась считать Роджера Уильямса настоящим другом евреев, обладавшим либеральным прогрессивным умом. Да, я пришла к тому, что, как Коэн Д'Азеведо, начала делить мир на два

лагеря: друзей евреев и всех остальных, при этом высчитывая шансы евреев найти свое место в Новом Свете.

Однако наступил день, когда я вернулась к себе. Я только что принесла корзинку сушеных яблок жене Джейкоба Маркуса, которая произвела на свет четвертую дочь, и быстрыми шагами, борясь с холодом, пересекала ветреную Фронт-стрит, когда услышала, как меня окликнули по имени:

— Титуба!

Я оказалась лицом к лицу с молодой негритянкой, внешность которой сперва показалась мне незнакомой. Уже тогда в городе Салеме, как и в Бостоне, и во всей колонии залива Массачусетс, было большое количество чернокожих, занятых тысячью видов тяжелого подневольного труда и больше не привлекавших ничьего внимания.

Я заколебалась, и тогда юная девушка воскликнула:

— Это я, Мэри Блэк! Неужели ты меня забыла?

Ко мне вернулись воспоминания.

Мэри Блэк была рабыней Натаниэля Патнама. Обвиненную, как и я, шайкой малолетних девиц в том, что она ведьма, ее отвели в тюрьму Бостона. Что с ней стало, мне уже было неизвестно.

— Мэри!

Внезапно прошлое раздавило меня тяжестью боли и унижений. Некоторое время мы рыдали в объятиях друг друга. Затем она выплеснула на меня целые ушаты новостей:

— Ах да! Сейчас обнаруживаются зловещие происки! Девочки все делали по указке родителей. История о землях, больших деньгах, старых соперничествах. Теперь ветер переменился; Сэмюэля Парриса хотят прогнать из деревни, но он держится. Требует невыплаченного жалования и дров для отопления, которые ему так ни разу не доставляли. Знаешь, что у его жены родился сын?

Не желая слышать об этом ни единого слова, я прервала ее:

— А как ты? Что случилось с тобой?

Она пожала плечами:

— Я все так же у Натаниэля Патнама. После прощения губернатора Фипса он взял меня назад. Он злится на своего двоюродного брата Томаса. Знаешь ли ты, что доктор Григгс теперь говорит, что Мэри Патнам и ее дочь Анна совсем безголовые?

Слишком поздно! Слишком поздно! Правда всегда приходит слишком поздно, так как идет медленней лжи. Важной медленной походкой, вот как идет правда! Мне буквально обжигал гу-

бы один вопрос, но я удерживалась от того, чтобы задать его. Под конец не выдержала:

— А Джон Индеец, что стало с ним?

Мэри колебалась, и тогда я повторила вопрос уже настойчивее. Она кратко ответила:

— Он больше не живет в деревне.

Я была изумлена:

— И где же?

— В Топсфилде!

В Топсфилде? Я схватила бедную Мэри, не осознавая, что мои пальцы вонзаются в ее ни в чем не повинную плоть.

— Мэри, ради всего святого, скажи мне, в чем дело. Что он делает в Топсфилде?

Смирившись, она посмотрела мне в лицо.

— Помнишь госпожу Сару Портер?

Больше, чем кого-либо! Худышка, которая в молитвенном доме не поднимала глаза от молитвенника!

— Так вот, он стал работать на нее, а когда ее муж умер, упав с крыши, занял место в кровати. В деревне это вызвало такое возмущение, что им пришлось уехать.

Должно быть, я выглядела настолько расстроенной, что Мэри утешающе добавила:

— Говорят, они совсем не ладят.

Остаток разговора я не слышала. Мне казалось, что я сейчас сойду с ума; одновременно с этим в памяти снова оживали слова Хестер:

— Жизнь всегда чересчур снисходительна к мужчинам, неважно, к белым или черным!

Вот висельник! Я выбивалась из сил в рабстве, а в это время мой муж в кожаной обуви с победным видом шагает по новым землям и живет в свое удовольствие. Потому что эта Портер богата — об этом я теперь вспоминала. Ее имя, как и имя ее покойного супруга, указывали среди тех, кто платил самые высокие налоги.

Я ускорила шаг, так как ветер стал еще резче и проникал под одежду, когда-то подаренную мне Бенджамином Коэном и хранившую нежный всепроникающий запах ее мертвой хозяйки.

Я торопилась: теперь — это я прекрасно понимала — у меня было только одно прибежище: большой дом на Эссекс-стрит.

Когда я туда добралась, настало время молитвы. Дети, собравшись вокруг отца, произносили слова, которые в конце концов стали для меня привычными: «Шма Исраэль Адонай Элохейну Эхад».

Я побежала в свою каморку и позволила горю полностью овладеть мной.

9

Впрочем, он ушел из моей жизни, как и остальное: боль стихла, и да, на четыре месяца у Бенджамина Коэна Д'Азеведо я познала покой, не осмеливаюсь сказать «счастье».

По ночам Бенджамин шептал мне:

— Наш бог не знает ни расы, ни цвета. Если хочешь, ты можешь стать одной из нас и молиться вместе с нами.

Я перебивала его смехом:

— Твой бог принимает даже ведьм?

Бенджамин целовал мне руки:

— Титуба, ты моя возлюбленная ведьма!

Тем не менее иногда тоска возрождалась. Я знала, что горе никогда не уходит. Я знала, что принадлежу к той породе людей, которых оно особенно любит, и ждала.

Я ждала.

10

Это началось, когда мезуза[32], прикрепленная над входной дверью дома Бенджамина Коэна Д'Азеведо, как и над дверями двух других еврейских семей, была сорвана и заменена непристойным рисунком, нанесенным черной краской.

Евреи настолько привыкли к гонениям, что Бенджамин, быстро сориентировавшись, сосчитал детей и завел их в дом, будто покорное стадо. Я потратила несколько часов, чтобы найти Моузеса, который резвился с другими сорванцами неподалеку от доков. Его кипа еле держалась на одном густом рыжем локоне. На следующий день должен был быть шаббат. Как обычно, пять Леви и трое Маркусов — Ребекка, его жена, все не выходила из дома после родов — потихоньку пробрались к Бенджамину, чтобы исполнить обряд. Едва раздались их голоса — возможно, чуть более дрожащие, чем обычно, — как на окна и двери обрушился целый ураган камней, ударявшихся и отскакивавших от них.

---

[32] Сноски: 32

Священный пергаментный свиток, где вручную написаны два отрывка из Торы.

Мне же терять было нечего; выйдя наружу, я увидела сгрудившуюся в нескольких метрах от дома небольшую толпу мужчин и нескольких женщин в зловещих одеяниях пуритан. Меня охватил гнев, и я двинулась к обидчикам. Мужчина загрохотал:

— Действительно, о чем думают те, кто нами правит? Разве для этого мы покинули Англию? Чтобы видеть, как рядом с нами размножаются евреи и негры?

На меня обрушилась туча камней. Я продолжала двигаться вперед, полная ярости, которая буквально воспламеняла мое тело и делала ноги проворными.

Внезапно кто-то заорал:

— Вы что, не узнаете ее? Это Титуба, одна из салемских ведьм!

Камни посыпались градом. Дневной свет померк. Я чувствовала себя подобной Ти-Жану[33], который, вооруженный одной силой воли, развеивает холмы, поворачивает вспять морские волны и заставляет солнце возобновить свой бег. Не знаю, сколько времени длилось это сражение.

Сознание вернулось ко мне в конце дня; все

---

[33] Сноски: 33
Персонаж гаитянского вуду.

тело было разбито, а Метахебель в слезах меняла компресс у меня на лбу.

Ночью мне приснился сон. Я хотела войти в лес, но деревья объединялись против. Меня опутывали черные лианы, упавшие с верхушек. Я открыла глаза: комната была черна от дыма.

Перепугавшись, я разбудила Бенджамина Коэна Д'Азеведо, который счел необходимым спать рядом со мной, чтобы врачевать мои раны. Он вскочил на ноги, пробормотав:

— Мои дети!

Было слишком поздно. Огонь, умело разожженный с четырех углов здания, уже поглотил первый и второй этаж. Он набросился на мою каморку под крышей. Мне хватило присутствия духа бросить в окно соломенные тюфяки, на которые мы приземлились посреди обугленных балок, дымившихся занавесей и перекрученных железяк. Мы вытащили из развалин девять маленьких трупов. Застигнутые во время сна, дети, надеюсь, не успели испугаться и не испытали страданий. И потом, разве им не предстояло воссоединиться с матерью?

Городские власти предоставили Бенджамину Коэну Д'Азеведо участок, чтобы похоронить своих. Это было первое еврейское кладбище в

американских колониях, еще до кладбища в Ньюпорте.

Будто этого оказалось недостаточно, в порту загорелись оба принадлежащие Бенджамину корабля. Однако думаю, что материальный ущерб оставил его совершенно равнодушным. Снова оказавшись в состоянии издать хотя бы звук, Бенджамин Коэн Д'Азеведо пришел ко мне:

— Всему этому есть разумное объяснение: нас хотят вытеснить из выгодной торговли с Антильскими островами. Нашей изобретательности боятся и, как всегда, ненавидят. Но я думаю не об этом. Это бог меня наказывает. Не за то, что я воспылал к тебе. Евреи всегда были искусны по части утех. У моего отца Моисея случались эрекции в очень преклонном возрасте. Второзаконие гласит: «Его сексуальная сила не уменьшалась». Авраам, Иаков, Давид имели наложниц. Бог не сердится на меня и за то, что я воспользовался твоим искусством, чтобы снова увидеть Абигайль. Он помнит любовь Авраама к Саре. Нет, он наказывает меня за то, что я отказал тебе в единственной вещи, которую ты желала, — в свободе! За то, что я силой удержал тебя при себе, используя насилие, которое он отвергает. За то, что я был эгоистичным и жестоким!

Я возражала.

— Нет, нет!

Но он, не слушая, продолжал:

— Теперь ты свободна. И вот доказательство тому.

Он вручил мне пергамент, увенчанный различными печатями, на которые я даже не взглянула, отчаянно тряся головой:

— Я не хочу этой свободы! Я хочу остаться с тобой!

Он прижал меня к себе.

— Скоро я отправляюсь в Род-Айленд, где, по крайней мере, до сегодняшнего дня, еврей имел право зарабатывать на жизнь. Там меня ждет единоверец.

Я зарыдала:

— Что ты хочешь, чтобы я делала без тебя?

— Чтобы ты вернулась на Барбадос. Не это ли твое самое горячее желание?

— Не такой ценой! Не такой!

— Я оставил тебе место на борту *«Bless the Lord»*[34], который через несколько дней отплывает в Бриджтаун. Держи, вот письмо для одного единоверца, торговца в этом городе. Его зовут

---

[34] Сноски: 34

Благослови господа (*англ.*), начало псалма 102/103.

Давид да Коста. Я прошу его оказать тебе помощь, если будет необходимость.

Я все еще возражала, тогда он взял мои руки в свои и, соединив их, заставил меня повторить слова Исайи:

Так говорит Господь:
небо престол Мой,
а земля подножие ног Моих;
где же построите вы дом для Меня,
и где место покоя Моего?

Когда я немного успокоилась, он шепнул мне:

— Окажи последнюю милость. Позволь снова увидеть детей!

Принимая во внимание нетерпение несчастного отца, мы не стали ждать ночи. Едва солнце закатилось за голубоватые крыши Салема, как мы все собрались в яблоневом саду. Я подняла голову к узловатым пальцам деревьев; сердце мое было переполнено горечью, споримей с моей верой. Первой появилась Метахебель, в ее волосах было полно колосьев, будто у юной богини первобытных религий. Бенджамин Коэн Д'Азеведо прошептал:

— Отрада отца, ты счастлива?

Она утвердительно наклонила голову, а братья

и сестры заняли место рядом с ней. Она спросила:

— Когда ты будешь с нами? Поторопись, отец. На самом деле смерть — самое большое благо.

Мне пришлось быстро узнать, что даже с оформленным как положено документом об освобождении негритянка не защищена от неприятностей. Капитан «Bless the Lord» — верзила по имени Стэннард — оглядел меня с ног до головы и, судя по всему, то, что он увидел, ему не понравилось. Он колебался, крутя в руках мои документы; в это время сзади к нему подошел какой-то матрос и шепнул на ухо то, что тот, должно быть, и так знал:

— Осторожно, это одна из салемских ведьм!

Ну вот! Снова я столкнулась с этим определением! Тем не менее, решив, что не позволю себя запугать, я возразила:

— Почти три года назад губернатор колоний объявил об общем прощении. Так называемые ведьмы были оправданы.

Матрос усмехнулся:

— Может быть, но ты-то призналась в своем преступлении. Прощение к тебе не относится.

Меня охватило уныние, я не нашла возражений. Однако в глазах хищного зверя — капитана —

мелькнул лукавый огонек, и Стэннард произнес:

— Значит, ты можешь с помощью волшебства предотвращать болезни? И кораблекрушения?

Я пожала плечами:

— Я умею лечить некоторые болезни. Что же до кораблекрушений, против них я ничего не могу.

Вынув трубку изо рта, он сплюнул на землю черной, скверно пахнущей слюной:

— Негритянка, когда обращаешься ко мне, говори «господин» и опускай глаза, если не хочешь, чтобы я выбил тебе зубы. Да, я перевезу тебя на Барбадос, но в оплату за мою доброту ты будешь заботиться о здоровье моего экипажа и предотвратишь бурю!

Я больше ничего не сказала.

Тогда он отвел меня на корму, загроможденную ящиками с рыбой, плетенками с вином, бочонками масла, и указал на место между канатными бухтами:

— Путешествовать будешь здесь!

По правде говоря, я была не в настроении возражать и драться когтями и зубами. Я думала только о трагических событиях, которые недавно пережила. Как мне несколько раз повторила Ман Яя, «главное — выжить!»

Но она была не права; жизнь — только камень

на шее мужчин и женщин. Горькое обжигающее зелье!

О, Бенджамин, мой нежный кривобокий любовник! Он отправился в Род-Айленд с молитвой на устах: «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай Эхад!»

Сколько забитых камнями? Пожаров? Пролитой крови? Сколько еще коленопреклонений?

Я стала представлять себе жизнь, текущую в другом направлении, имеющую другой смысл, другие цели, не терпящие отлагательства.

Огонь уничтожает верхушку дерева. Непокорная, она исчезает в облаке дыма. Это она восторжествовала над смертью, дух ее остается. Испуганный круг рабов снова обретает храбрость. Дух остается[35].

Да, другая цель, не терпящая отлагательства.

Между тем я худо-бедно втиснула между веревками корзину со своими скудными пожитками, поплотнее завернулась в плащ и постаралась насладиться тем, что происходило. Несмотря ни на что, разве я не жила мечтой, которая так часто поддерживала меня? И вот теперь я скоро снова

---

[35] Сноски: 35

Ссылка на историю о сожжении руководителя восстания антильских рабов Макандаля. Согласно легенде, он не сгорел, а улетел, превратившись в насекомое.

обрету родину.

Землю, все такую же дикую. Холмы, такие же зеленые. Тростники Конго — такие же фиолетовые, переполненные липким соком. Такой же атласный изумрудный пояс, повязанный на его талии. Но времена изменились. Люди больше не согласны страдать. Мятежник исчезает в облаке дыма. Его дух остается. Страхи рассеиваются.

К середине дня меня извлекли из убежища, чтобы я вылечила матроса. Это был негр, работающий при кухне; его трясло в лихорадке. Он внимательно уставился на меня подозрительным взглядом:

— Мне сказали, тебя зовут Титуба? Не ты ли дочь Абены, которая убила белого?

От сознания, что меня признают после десяти лет отсутствия, на глаза навернулись слезы. Я и забыла, насколько наш народ способен помнить! О, нет! От него ничего не ускользает! В его памяти отпечатывается все!

Я пролепетала:

— Да, это ты обо мне!

Его взгляд наполнился нежностью и уважением:

— Я слышал, у тебя здесь была нелегкая жизнь?

Откуда он знает? Я разрыдалась и сквозь свои всхлипывания услышала, как он неловко пытается меня утешить:

— Ты жива, Титуба! Разве это не главное?

Я судорожно затрясла головой. Нет, это не главное. Нужно, да, нужно, чтобы жизнь поменяла вкус. Но как этого достичь?

С тех пор Деодатус — тот матрос — каждый день приходил посидеть рядом со мной и приносил продукты, которые ему удавалось потихоньку стащить с капитанского стола. Без них я, несомненно, не выдержала бы это путешествие. Как и Ман Яя, он принадлежал к народу наго с залива Бенин. Скрестив руки под головой и разглядывая запутанный рисунок звезд, он рассказывал мне на одном дыхании:

— Знаешь ли ты, почему небо отделено от земли? Когда-то они были очень близки и вечером, перед тем, как уснуть, болтали, будто старые друзья. Но женщины, готовящие еду, раздражали небо стуком своих пестиков в ступках и особенно криками. И вот оно стало отступать все выше и выше, все дальше и дальше за огромную синеву, которая простирается над нашими головами…

Знаешь ли ты, почему пальма — королева деревьев? Потому что каждая из ее частей необ-

ходима для жизни. Из ее плодов делают масло для жертвоприношений, листьями покрывают крыши, из волокон женщины делают метелки, чтобы делать уборку в хижинах и вокруг них.

Изгнание, страдания, болезнь — все вместе подействовало на меня так, что я почти забыла эти бесхитростные истории. Благодаря Деодатусу, рассказы которого я без устали слушала, ко мне возвращалось детство.

Иногда он рассказывал мне о своей жизни. На службе у Стэннарда он ходил вдоль всего побережья Африки. Несколькими годами раньше капитан был вовлечен в торговлю людьми; Деодатус служил ему переводчиком. Сопровождал в хижины тамошних владык, с которыми и заключались постыдные незаконные сделки:

— Двадцать негров за бочку спирта, один-два фунта пороха и шелковый зонтик, чтобы укрывать его величество.

Мои глаза наполнялись слезами. Столько страданий ради каких-то вещественных благ!

— Ты даже представить себе не можешь, какова жадность этих негритянских королей! Они будут готовы продать своих подданных, если это разрешают законы, которым те не осмеливаются бросить вызов. А жестокие белые этим

пользуются!

Еще мы часто говорили о будущем. Деодатус был первым, кто впрямую спросил меня:

— Что ты там собираешься делать?

И добавил:

— Какой смысл быть свободной, когда твои близкие в рабстве?

Я не нашла ничего в ответ. Потому что возвращалась в родную страну будто ребенок, который бежит к материнским юбкам, чтобы прижаться к ним.

Я пробормотала:

— Разыщу свою хижину в бывших владениях Дарнелла и…

Деодатус усмехнулся:

— Думаешь, она тебя там так и ждет? Ты когда уехала?

Меня мучили все эти вопросы, так как я и сама не знала, что на них ответить. Я ждала, надеясь, что мои подадут какой-то знак. Увы! Ничего не происходило, я по-прежнему оставалась одна. Одна. Так, как текущая вода рек привлекает духов, но морская, пребывающая в непрестанном движении, их пугает. Они держатся по берегам водных просторов, не переступая их и особенно не осмеливаясь остановиться над волнами:

Перейдите воду, о мои отцы!
Перейдите воду, о мои матери!

Молитва оставалась без ответа.

На четвертый день лихорадка, от которой я более или менее вылечила Деодатуса, проявилась у другого члена экипажа, затем у другого, а потом у еще одного. Нам пришлось смириться с тем, что на корабле эпидемия. Между Африкой, Америкой и Антильскими островами бродит столько видов лихорадки и скверных болезней, привлеченных грязью, теснотой и скудным питанием! На борту не было недостатка ни в роме, ни в лимонах с Азорских островов, ни в кайенском перце. Из всего этого я приготовляла снадобья, которые и давала горящим в лихорадке. Я вытирала пучками соломы потные беспокойные тела больных, делала все, что могла, и, без сомнения, с помощью Ман Яя мои усилия увенчались успехом. Умерло всего четверо; их бросили в море, заполнившее собой каждую складку их саванов.

Думаете, капитан выразил мне хоть какую-то признательность? На восьмой день, когда наступило полное безветрие, поверхность воды сделалась словно масляной, а корабль принялся раскачиваться, будто бабушкина люлька на

веранде. Стэннард притащил меня за волосы к подножию большой мачты:

— Негритянка, если хочешь спасти свою шкуру, прикажи ветру подняться! У меня здесь скоропортящийся груз; если так будет продолжаться, я буду вынужден выбросить его за борт. Но сперва туда полетишь ты.

Мне ни разу не случалось подумать, что я могу повелевать природными стихиями. По сути дела, этот человек бросил мне вызов. Я повернулась к нему:

— Мне нужны живые животные!

Живые животные? К этому времени путешествия на корабле оставалось лишь несколько птиц, предназначенных к капитанскому столу, коза с выменем, раздутым от молока к его завтраку, и в дополнение к ним — несколько кошек, которые следили, чтобы на корабле не завелись мыши. Мне привели их всех.

Молоко, кровь! Не обладала ли я самыми главными жидкостями вместе с безропотной плотью жертв?

Я внимательно смотрела на море, но перед моими глазами расстилался сгоревший лес. Внезапно из неподвижных углей выскочила птица и поднялась прямо вверх, в направлении солнца. Потом

она остановилась, описала круг, снова замерла, а затем продолжила свой молниеносный взлет. Я поняла, что это знак, и молитвы, которые я возносила в своем сердце, не остались без отклика.

Бесконечно долго птица оставалась всего лишь незаметной точкой, еле уловимой взглядом. Все замерло, будто в ожидании решения, которое примут таинственные силы. Затем пространство наполнил оглушительный свист, доносившийся с одной из сторон горизонта. Небо поменяло цвет, из ярко-синего сделавшись почти светло-серым. Море начало покрываться барашками, порыв ветра закрутился вокруг парусов, путая их, развязывая снасти, надвое разломив мачту, которая насмерть придавила матроса. Я поняла, что моих жертв оказалось недостаточно и невидимые требуют что-то еще в придачу к «безрогим баранам». На заре шестнадцатого дня мы прибыли на Барбадос.

В суматохе прибытия я поискала Деодатуса, чтобы попрощаться с ним, но тот исчез. Это повергло меня в печаль.

11

Мой нежный кривобокий притворный любовник! Я вспоминаю о скудном счастье, которое мы познали перед тем, как потерять друг друга навсегда!

Когда ты присоединялся ко мне на большой кровати в моей каморке, мы раскачивались, будто в пьяной лодке, вихляющей по бурному морю. Ты направлял меня ногами, будто гребец — веслами, и мы в конце концов достигали берега. Сон даровал нам нежность его пляжей, и утром, наполненные новыми силами, мы могли приступать к повседневным заботам.

Мой нежный кривобокий притворный любовник! В последнюю ночь, которую мы провели вместе, мы не занимались любовью, будто наши тела отступали перед нашими душами. И снова ты обвинял себя в жестокосердии. И снова я умоляла тебя оставить мне мои цепи.

Хестер, Хестер, ты не была бы довольна мной. Но некоторые мужчины, наделенные добродетелью быть слабыми, дают нам желание оставаться рабынями!

12

Они были здесь — троица невидимых посреди толпы рабов, матросов, зевак, которые пришли поглазеть на меня. У духов есть особенность: они не стареют и сохраняют облик своей вновь обретенной юности. Ман Яя — высокая негритянка-наго со сверкающими зубами. Моя мать Абена — принцесса ашанти с кожей цвета гагата и висками, испещренными полосками ритуальных шрамов. Яо — мапу с широкими мощными ногами.

Не стану описывать те чувства, которые испытала, когда они прижались ко мне.

В остальном же мой остров казался совсем не праздничным. Шел дождь, стада мокрых черепичных крыш Бриджтауна прижимались друг к дружке вокруг мощного силуэта собора. Улицы были затоплены грязной водой, в которой барахтались люди и звери. Без сомнения, только что бросил якорь работорговец, так как под соломенным навесом рынка англичане — мужчины и женщины — осматривали зубы, языки и генита-

лии трепетавших от унижения босалей[36].

Каким же отвратительным был мой город! Маленьким. Жалким. Колониальные задворки, смердящие жаждой наживы и страданием.

Я поднялась по Брод-стрит и, почти против собственной воли, оказалась перед домом, когда-то занятым моим врагом — Сюзанной Эндикотт. Однако вместо того, чтобы радоваться словам Ман Яя, которая шептала мне на ухо, рассказывая, каким образом эта карга отдала богу душу после того, как много недель мариновалась в своей обжигающе горячей моче, меня неожиданно охватило другое чувство.

Чего бы я только не отдала, чтобы воскресить те годы, когда одну ночь за другой спала в объятиях моего Джона Индейца, положив руку на часть его тела, дарующую удовольствие! Чего бы я только не дала, чтобы он появился в низком дверном проеме и поприветствовал меня — иронично и нежно, как у него всегда хорошо удавалось.

«Эй! Моя вдрызг разбитая жена! Вот и ты! Ты покатилась по жизни, будто камень без мха, и возвращаешься с пустыми руками!»

Я пыталась удержать слезы, но это не укрылось

---

[36] Сноски: 36

Свежепривезенные некрещеные негры. — *Прим. авт.*

от взгляда моей матери Абены, вздохнувшей:

— Тоже мне! Плачет из-за какого-то мерзавца!

После этого замечания, нарушающего гармонию, трое духов повернулись вокруг себя, образуя полупрозрачное облако, поднявшееся над домами. Ман Яя объяснила мне:

— Нас куда-то зовут! Встретимся сегодня вечером.

Моя мать добавила:

— Не позволяй сбить себя с пути! Возвращайся к себе!

К себе! Какая жестокая ирония была в этих словах.

За исключением группы умерших, на острове меня никто не ждал; я даже не знала, стоит ли еще хижина, в которой я обитала десять лет назад. Если нет, придется снова превращаться в строителя и где-то соорудить себе убежище. Перспектива была настолько малопривлекательной, что я попыталась отправиться на поиски Давида да Коста, письмом к которому снабдил меня Бенджамин Коэн Д'Азеведо. Где же он живет?

Я продолжала колебаться, размышляя, как поступить, когда увидела, что ко мне, ковыляя в жидкой грязи и более или менее удачно укрываясь под банановыми листьями, приближается

группа людей. Я узнала Деодатуса, окруженного двумя женщинами, и радостно воскликнула:

— Где же ты был? Я тебя всюду искала.

Он таинственно улыбнулся.

— Пошел предупредить кое-кого о твоем прибытии. Я знал, что они обязательно обрадуются.

Тогда одна из молодых женщин склонилась передо мной:

— Почти нас, мать, своим присутствием!

Мать? Это обращение заставило меня подпрыгнуть, закипеть от гнева. Так следует называть пожилых женщин, желая выразить им уважение. Мне же едва исполнилось тридцать, и менее месяца назад мои бедра затопляло теплое семя мужчины! Пряча недовольство, я взяла Деодатуса за руку и спросила его:

— И где живут твои друзья?

— Около Белл-Плейн.

Я было возразила.

— Белл-Плейн! Но это же на другом конце страны!

Однако взяла себя в руки. Разве я только что не поняла, что меня никто не ждет и что у меня больше нет жилья? Тогда почему бы не Белл-Плейн?

Мы покинули город. Внезапно, как часто случается в наших краях, дождь прекратился; снова

засияло солнце, лаская светящейся кистью контуры холмов. Тростник был в цвету — сиреневая завеса над полями. Блестящие, будто лакированные, листья ямса поднимались, словно штурмуя подпорки.

Я ощутила ликование — чувство, противоречащее тому, что переполняло меня мгновением раньше. И я поверила, что меня никто не ждет? И это когда целая страна отдает себя моей любви? Разве не для меня разливается в трелях птица зенайда? Разве не для меня усыпаны плодами папайя, апельсиновое и гранатовое дерево? Успокоившись, я повернулась к Деодатусу, который шел рядом со мной, уважая мое молчание.

— Но кто твои друзья? На какой плантации они работают?

Он издал короткий смешок, на который обе женщины откликнулись эхом, и ответил:

— Ни на какой плантации они не работают!

Некоторое время я ничего не понимала, а затем недоверчиво произнесла:

— Они не работают ни на какой плантации? Значит, они… беглецы?

Деодатус кивнул.

Беглецы?

Десять лет назад, когда я покинула Барбадос,

беглецы были редкостью. Случалось, говорили о некоем Ти-Ноэле и его семье, державшей Фарли Хилл. Никто никогда их не видел. С тех пор как он поселился в фантазиях и вымыслах, он уже должен был бы состариться. Однако ему приписывали молодость и отвагу, повторяя друг другу его важные отличительные черты: «Ти-Ноэля не может убить ружье белого. Собака белого не может его покусать. Огонь белого не может его сжечь. Папа Ти-Ноэль, открой мне изгородь!»

Деодатус объяснил:

— Мои друзья подались в бега несколько лет назад, когда французы напали на Сто одиннадцатый пехотный полк. Тогда англичане захотели силой завербовать рабов себе на защиту. Но те подумали: «Еще чего! Умирать из-за раздоров между белыми!» — и ноги в руки! Они удрали на Чоки Маунтин[37], и англичанам не удалось выкурить их оттуда.

И снова в ответ на его слова женщины рассмеялись.

Я не знала, что и подумать. Несмотря на все, что я только что пережила, и то, что жажда мести во мне так и не была удовлетворена, душа моя не

---

[37] Сноски: 37
Меловая гора (*англ.*).

лежала ввязываться в истории с беглецами и рисковать своей шкурой. Вопреки логике я пришла к выводу, что больше всего мне хотелось бы спокойно жить на своем вновь обретенном острове. Поэтому остаток пути прошел в молчании. Когда солнце повисло почти посредине неба, женщины сделали нам знак остановиться и вынули из своих макут[38] фрукты и немного сухого мяса. Мы разделили эту скромную трапезу, которую Деодатус, со своей стороны, оросил ромом. Затем снова отправились в путь. Дорога все более и более круто забирала вверх, а растительность становилась неистовой в своей пышности, будто и ей тоже хотелось защитить тех, кто вне закона. Один раз женщины громко произнесли:

— Ago!

Заросли зашевелились, и появились трое мужчин, вооруженных ружьями. Они сердечно поздоровались, но тем не менее завязали нам глаза. Погруженные в темноту, мы вошли в лагерь беглецов.

Усевшись в кружок, беглецы слушали меня. Не очень многочисленные, не больше десятка вместе с женами и детьми. Перед моим мысленным

---

[38] Сноски: 38
Котомка (*креол.*).

взором вновь проходили мои страдания: явка в суд, безосновательные обвинения, фальшивые признания, предательство тех, кого я любила. Когда я замолчала, они заговорили все разом:

— Этот Сатана, сколько раз ты его встречала?

— Он сильнее, чем самый великий из колдунов?

— Он тебя заставил написать в своей книге, значит, ты умеешь писать?

Кристофер — их предводитель — мужчина примерно сорока лет, спокойный, как реки, которые непрестанно текут к морю, жестом остановил всех и произнес извиняющимся тоном:

— Прости их, это воины, а не грангреки[39]; они не поняли, что тебя обвинили несправедливо. Ты же невиновна, ведь так?

Я согласно кивнула. Он настаивал:

— У тебя нет никакой власти?

Даже не знаю, какому из чувств я уступила. Тщеславие? Желание пробудить в глазах этого мужчины живой интерес? Жажда искренности? Так или иначе, я попыталась объяснить:

— Кое-какие силы я получила от женщины, которая меня воспитала, одной из наго. Но они

---

[39] Сноски: 39
Ученые. — *Прим. авт.*

служат мне лишь ради того, чтобы творить благо…

Беглецы хором перебили меня:

— Творить благо? Даже своим врагам?..

Я не знала, что и ответить. К счастью, Кристофер встал и зевнул, подавая сигнал отойти ко сну:

— Завтра новый день!

Мне предоставили хижину недалеко от той, которую занимал он сам вместе с двумя своими спутницами жизни, так как ради своего блага установил африканский обычай многоженства. Мне показалось, что никогда у меня не было матраса мягче, чем эта подстилка, даже пол из утоптанной земли под соломенной крышей. О да! Помотала меня жизнь по свету! Из Салема в Ипсвич! С Барбадоса в Америку и обратно! Но тогда я вкушала отдых и могла сказать жизни: «Ты больше не будешь меня мучить».

Прекратившийся было дождь снова начался; я слышала, как он топает, взбешенный, будто посетительница, которую держат у двери.

Я уже собиралась погрузиться в сонное небытие, когда услышала шум у входа в хижину. Я подумала, что это, без сомнения, мои невидимые, которые пришли, чтобы упрекнуть меня за что, что избегаю их, когда вошел Кристофер, держа

над головой светильник. Я выпрямилась:

— Это еще что? Тебе двух жен не хватает?

Он поднял глаза к небу, что, в свою очередь, уязвило меня, и возразил:

— Послушай, у меня на уме не шалости!

Вопреки всему в моем вопросе прозвучали кокетливые нотки: все пережитые несчастья не уменьшили тот древний инстинкт, который и делает меня женщиной.

— Что же тогда?

Он сел и поставил светильник на землю, что высвободило множество танцующих теней.

— Я хочу знать, могу ли я рассчитывать на тебя!

На мгновение я замерла с разинутым ртом, а потом воскликнула:

— А почему, господи боже?

Он наклонился ко мне:

— Помнишь песню о Ти-Ноэле?

Ти-Ноэль? Я отказывалась понимать. Он пристально посмотрел на меня взглядом, полным сострадания, будто на слабоумного ребенка, и запел на удивление чистым голосом:

— О, папа Ти-Ноэль, ружье белого не может тебя убить. Пули белого не могут тебя сразить, они по коже твоей скользят. Титуба, я хочу, чтобы ты

сделала меня непобедимым!

Так вот оно что! Я едва не рассмеялась, но сдержалась, боясь рассердить его. Мне удалось спокойно ответить:

— Кристофер, я не знаю, способна ли на такое.

Он рявкнул:

— Ты ведьма? Да или нет?

Я вздохнула:

— Каждый придает этому слову разное значение. Каждый полагает, что может выстроить ведьму так, чтобы она удовлетворяла его устремления, мечты, желания…

Он оборвал меня:

— Послушай, я не хочу сидеть тут и слушать, как ты философствуешь! Я предлагаю тебе сделку. Ты делаешь меня непобедимым. Взамен…

— Взамен?

Он встал, его голова почти прикоснулась к крыше хижины, а его тень растянулась на мне, будто дух-покровитель.

— Взамен я дам тебе все, о чем только может мечтать женщина.

Я произнесла с некоторой иронией:

— В смысле?

Не ответив, он развернулся. Едва он вышел наружу, как я услышала вздохи, которые безоши-

бочно узнала. Решив не обращать внимания на Абену, я отвернулась к стене, окликнув Ман Яя:

— Могу ли я ему помочь?

Ман Яя затянулась из своей короткой трубки и выпустила в воздух клуб дыма:

— Как ты это сможешь? Смерть — это дверь, которую никто не может запереть. В нее должен пройти каждый — в свой час, в свой день. Ты хорошо знаешь, что можно только держать ее открытой для тех, кто тебе дорог, чтобы они увиделись с теми, кого оставили.

Я настаивала:

— Не могла бы я ему помочь? Он борется за благородное дело.

Моя мать Абена рассмеялась:

— Лицемерка! Разве дело, за которое он борется, тебя интересует? Да ладно!

Я закрыла глаза в темноте. Меня злила суровая проницательность матери. Кроме того, я упрекала сама себя. Не достаточно ли мне мужчин? Не достаточно ли мне вереницы разочарований, сопровождающей привязанности? Едва вернувшись на Барбадос, я уже собираюсь ввязаться в приключения, конца которых не могу предвидеть. Шайка беглецов, о которых я ничего не знаю. Дав себе слово расспросить Деодатуса о его

друзьях, я позволила себе соскользнуть в сон.

Большие белые лилии обернули меня своими парчовыми лепестками; вскоре вокруг кровати принялись кружиться в хороводе Хестер, Метахебель и мой еврей — живые и мертвые, вперемежку — те, кого я любила и по кому тосковала.

Мой еврей казался успокоенным, почти счастливым, как будто там, на Род-Айленде, ему, по крайней мере, позволено громко чествовать своего бога.

В какое-то мгновение дождь мягко зашептал, заливая травы, деревья, крыши и по контрасту напомнив мне ледяные враждебные дожди той земли, которую я оставила позади. Ах да, природа меняет язык в зависимости от того, под какими небесами находится, и, что любопытно, этот язык созвучен человеческому! В суровой природе суровые люди. Там, где природа заботлива и защищает своих детей, люди щедры и великодушны!

Первая ночь на моем острове!

Кваканье лягушек и мамаш-жаб, трели ночных птиц, кудахтанье домашней птицы, напуганной мангустами, резкие крики ослов, привязанных к калебасовым деревьям, друзьям духов, — все это

составляло нескончаемую музыку. Мне хотелось бы, чтобы никогда не рассветало и чтобы ночь плавно перетекла в смерть. Промелькнули мимолетные воспоминания о днях в Бостоне и Салеме, но они становились зыбкими и нечеткими, как и воспоминания о тех, кто омрачил их ядом своего сердца: Сэмюэле Паррисе и остальных.

Первая ночь!

Весь остров нежно шепчет:

— Она вернулась. Она здесь — дочь Абены, дочь Ман Яя. Она больше нас не покинет.

13

Я никогда не думала о том, чтобы превзойти Ман Яя в колдовской власти. Впрочем, я никогда не думала выйти из-под ее руководства, всегда считая себя ее ребенком, ее ученицей. Увы! К стыду своему, должна признаться, что эта точка зрения изменилась и ученица вбила себе в голову соперничать с учителем. В конце концов, у меня была причина гордиться собой. Разве на борту *«Bless the Lord»* я не управляла природными стихиями? Причем не было никаких оснований утверждать, будто я достигла этого благодаря помощи извне!..

Отныне я позволила себе заняться исследованиями самостоятельно, бродя по окружающей местности, вооруженная маленьким ножиком, которым выкапывала растения, и огромной котомкой, в которую я их собирала. Старалась я и поддерживать новый разговор с водами рек или дуновением ветра, чтобы открыть их секреты.

Река течет к морю, как жизнь к смерти, и ничто не может остановить ее течение. Почему?

Поднимается ветер. Иногда он ласковый. Иногда разрушительный. Почему?

Я увеличила число жертв в виде свежих фруктов, еды, животных; все это я клала на перекрестках дорог, в запутанных корнях некоторых деревьев и в природных пещерах — всюду, где любят обитать духи. Так как Ман Яя не желала прийти мне на помощь, единственное, на что я могла рассчитывать, — это на свой ум и предчувствия. Я должна была в одиночку прийти к этому более высокому знанию. Я принялась расспрашивать рабов о колдунах, живших на плантациях. И вот мне предстояло задавать вопросы мужчинам и женщинам, которые воспримут их с самым большим недоверием. Следует знать, что колдун или ведьма не особенно склонны делиться секретами своей науки. Они подобны поварам, которые ни за что не желают передавать свои рецепты.

Однажды я столкнулась с колдуном, негром ашанти, как и моя мать Абена; тот начал во всех подробностях рассказывать, как его захватили на просторах аквапима[40] на африканском побережье. В это время его жена — тоже ашанти, так как рабы создают семейные союзы преимущественно с людьми своей «нации» — чистила корни на

[40] Сноски: 40

Аквапим (дословно «тысяча невольников») — племенные союзы. Языки аквим, ашанте и ачем.

ужин. Затем он спросил у меня каким-то странным тоном:

— Ты где живешь?

Я пробормотала, так как мне не советовали раскрывать, где находится лагерь беглецов:

— С другой стороны холмов.

Колдун усмехнулся.

— Так ты Титуба? Та, которую белые едва не вздернули на веревке?

Я ответила как обычно:

— Ты наверняка знаешь, что мне не в чем себя упрекнуть!

— Жаль! Какая жалость!

Озадаченная, я уставилась на него. Он продолжил:

— Если бы я находился на твоем месте, ах! Я бы заколдовал весь мир: отца, мать, детей, соседей… Я бы натравил одних на других и наслаждался, глядя, как они разрывают друг друга на кусочки. Обвинили бы не сотню человек, казнили бы не двадцать; в их числе был бы весь Массачусетс, и я вошел бы в историю под именем «демон Салема». А вот ты какое прозвище носишь?

Эти слова уязвили меня, так как подобное уже приходило мне в голову. Я уже сожалела, что сыграла во всем этом лишь роль незначитель-

ной героини — быстро забытой, судьба которой никого не интересует. «Титуба, рабыня с Барбадоса, которая, по всей вероятности, занималась вуду». Несколько строк в толстом трактате, посвященном событиям в Массачусетсе. Почему мне предстоит оказаться в такой безвестности? Этот вопрос тоже постоянно меня мучил. Это потому, что никому нет дела до какой-то негритянки, ее страданий и горестей? Ведь так?

Ищу свою историю в повествовании о салемских ведьмах и не нахожу ее.

В августе 1706 года Энн Патнам стоит посреди церкви Салема, кается в ошибках своего детства, оплакивая их ужасные последствия.

— Хочу пасть в прах и просить прощения у всех, кому я причинила вред и нанесла оскорбление, всех, чьи родные были арестованы и обвинены.

Она не первая и не последняя, кто таким образом во всеуслышание обвиняет себя; одна за другой жертвы реабилитированы. А вот обо мне не говорят. «Рабыня Титуба, уроженка Барбадоса, которая, очевидно, занималась вуду».

Не ответив, я опустила голову. Словно прочтя то, что происходит во мне, и не желая более меня удручать, колдун смягчился:

— Жизнь — это не миска толомана, так?

Отказываясь принять его жалость, я встала:

— Вечереет, мне нужно возвращаться.

Лукавый огонек стер сверкнувшую в его глазах мимолетную симпатию. Колдун произнес:

— То, что у тебя на уме, невозможно! Ты что, забываешь, что ты живая?

Я снова направилась в лагерь беглецов, так и этак вертя в голове последнюю фразу. Означает ли она, что высшее знание приходит только со смертью? Что у живых есть свой неосязаемый предел? Что мне следует смириться с несовершенством своего знания?

Я уже собиралась покинуть плантацию, когда ко мне подошла группа рабов. Я подумала, что здесь были больные, женщины, желавшие получить какое-то снадобье, дети, которым требуется пластырь для ран, мужчины, повредившие конечности при работе на мельнице. Очень быстро по острову разошлись слухи о моей способности извлечь из растений самое лучшее, поэтому стоило мне где-то появиться, как я тут же оказывалась окружена жаждавшими лечения.

Однако дело оказалось совсем в другом.

Рабы с приличествующими случаю выражениями лиц бросили мне:

— Берегись, мама! Вчера вечером плантаторы

собрались. Они хотят твою шкуру.

Я упала с облаков. В каком преступлении можно меня обвинить? Что я сделала со времени своего прибытия, кроме того, что лечила тех, кого никто не лечил?

Мужчина объяснил мне:

— Они говорят, что ты переносишь сообщения от одних негров, работающих на плантациях, другим, что ты помогаешь им готовить восстание. Поэтому они собираются устроить тебе ловушку.

Потрясенная, я снова направилась к лагерю.

Те, кто следовал моему рассказу до сих пор, должно быть, разозлились. Что же это за ведьма, которая не умеет ненавидеть, и человеческое жестокосердие всякий раз сбивает ее с толку?

В тысячный раз я приняла решение быть другой, отрастить клюв и когти. Ах! Изменить свое сердце! Обмазать его стенки змеиным ядом. Сделать из него вместилище жестоких и горьких чувств. Любить зло! Вместо этого я чувствовала у себя в душе только нежность и сострадание к обездоленным, возмущение несправедливостью!

За Фарли Хиллз садилось солнце. К небесам поднялось неумолчное пение ночных насекомых. К улицам негритянских поселков поднималась оборванная толпа рабов, а десятники, торопясь

выпить своего сухого, покачиваясь взад-вперед под навесом веранды, гарцевали на лошадях. При виде меня они щелкали кнутами, словно не терпелось применить их. Тем не менее ни один не осмелился рискнуть.

Когда я добралась до лагеря, уже стемнело.

Укрывшись в густых зарослях сырных деревьев, женщины коптили куски мяса, которые предварительно покрыли смесью лимона и перца чили, а перед этим посыпали листьями ямайского перца. Обе женщины Кристофера неодобрительно взглянули на меня; они задавались вопросом, что происходит между их мужчиной и мной. Обычно я жалела их молодость и дала себе слово не делать ничего, что могло бы их задеть. Но в тот вечер я даже не взглянула в их сторону.

Кристофер сидел у себя в хижине и сворачивал себе сигару из листьев табака — растения, в изобилии встречающегося на острове и на котором некоторые плантаторы сделали себе состояния. Он насмешливо произнес:

— Где ты снова бродила весь день? Надеешься таким образом найти лекарство, о котором я тебя просил?

Я пожала плечами:

— Советовалась с людьми, более искусны-

ми, чем я. Все они говорят, что нет никакого лекарства от смерти. Богатый, бедный, раб, хозяин — каждый должен пройти через это. Но послушай меня: я хоть и поздно, но поняла, что должна стать совсем другой. Позволь мне вместе с тобой сражаться с белыми!

Закинув голову назад, он рассмеялся; отзвуки его веселья смешивались с завитками дыма сигары:

— Ты, сражаться? Это уж слишком. Долг женщины, Титуба, — это не сражаться, не воевать, это любовь!

Несколько недель все было спокойно.

Несмотря на предупреждения рабов, я все равно спускалась на плантации. Отныне я выбирала время сразу после захода солнца — время, когда пространством снова овладевают духи. Как бы ни были недовольны Ман Яя и моя мать Абена, что я поселилась в Фарли Хиллз, они не прекратили ежедневно появляться рядом со мной, сопровождая по неровным дорожкам, змеившимся по полям. Их ворчание я не воспринимала всерьез:

— Что ты делаешь среди беглецов? Это скверные негры, которые только думают о том, чтобы воровать и убивать!

— Неблагодарные они, вот и все! Оставили в

рабстве матерей и братьев, а сами освободились!

Какой смысл был об этом говорить?

В те дни я познала большое счастье! Я вернула к жизни ребенка — маленькую девочку, едва вышедшую из тени материнского лона. Она еще колебалась, не переступив врата смерти, в темном коридоре, где готовятся к отправлению. Я удержала ее — теплую, покрытую вязкой слизью и экскрементами, положив на грудь матери. Какое выражение было на лице этой женщины!

Таинственное и загадочное материнство!

Впервые я подумала: а вдруг ребенок, которому я когда-то отказала в жизни, несмотря ни на что, придал бы моему существованию значимость и вкус!

Хестер, не обманулись ли мы? Не следовало ли тебе жить ради своего ребенка вместо того, чтобы умереть вместе с ним?

Кристофер завел привычку проводить ночь в моей хижине. Я и сама толком не знаю, как началось это новое приключение. Чуть более настойчивый взгляд. Вспышка страсти. Желание доказать самой себе, что я еще не сломлена, не подурнела, как лошадь, которая носила слишком тяжелый груз. Впрочем, стоит ли об этом говорить? Связь затрагивала только мои чувства.

Остальная часть меня продолжала принадлежать Джону Индейцу, о котором, как ни странно, я с каждым днем думала все больше.

Мой негр, полный ветра и наглости, как когда-то прозвала его Ман Яя. Мой негр — предатель, у которого нет храбрости!

Когда Кристофер неистовствовал над моим телом, мой разум блуждал; я снова переживала наслаждение своих американских ночей. Зима и холод куда-то спешат в ночи. Слушайте их долгий вой! И галоп их лап по затвердевшей от мороза земле.

Мы с моим негром ничего не слышим — мы задыхаемся от любви. Сэмюэль Паррис, наглухо застегнутый, весь в черном, с ног до головы, читает молитвы. Послушайте суровую литанию, выходящую из его уст:

Они многочисленнее, чем волосы у меня на голове,

Те, кто беспричинно ненавидит меня.

Они многочисленны — те, кто хочет погубить меня…

Мы же с моим негром ничего не слышим — мы буквально погибаем от любви.

Понемногу Кристофер, обладавший мной в

тишине, начал доверяться мне:

— По правде говоря, нас не так много, и самое главное — мы недостаточно вооружены, чтобы напасть на белых. Полдюжины ружей и дубинки из гваякового дерева — вот и все, что у нас есть. Поэтому мы живем в постоянном страхе, что нападут на нас. Это правда!

Немного разочарованная, я спросила:

— Поэтому ты и хочешь, чтобы я сделала тебя непобедимым?

Почувствовав насмешку в моем голосе, он отвернулся к стенке:

— Какая разница, получится у тебя или нет! В любом случае я буду бессмертным. Я уже слышу песни негров с плантаций…

И приятным голосом он начал песню собственного сочинения, где хвастал своим величием. Я тронула его за плечо:

— А я, для меня есть песня? Песня для Титубы?

Притворившись, будто к чему-то прислушивается в ночи, он ответил:

— Такой нет!

После этого он захрапел. Я попыталась сделать то же самое.

Когда я не лечила негров на плантациях, то присоединялась к женщинам беглецов. Сперва

они относились ко мне с огромным почтением. Затем, узнав, что Кристофер делит со мной постель и что я, в общем, сделана из того же теста, что они, проявили ко мне враждебность. Теперь эта враждебность тоже растаяла, уступив место суровому единению. Более того, они нуждались во мне. Одна — чтобы заполнить молоком пустые мехи своей груди. Другая — чтобы излечить боль, не покидающую ее со времени последних родов. Я слушала, как они говорят, находя в разговорах развлечение, отдых и удовольствие:

— Давным-давно, когда дьявол был маленьким мальчиком в коротких штанишках и белой, крепко накрахмаленной рубахе, земля была населена только женщинами. Они вместе работали, вместе спали, вместе купались в водах рек. Однажды одна из них собрала всех остальных и сказала им:

— Сестры мои, когда нас не станет, кто заменит нас? Мы не создали ни одного человека по своему образу и подобию!

Те выслушали ее и пожали плечами:

— Разве есть необходимость, чтобы кто-то нас заменил?

Однако некоторые придерживались того мнения, что это нужно:

— Если нас не будет, кто станет возделывать

землю? Та придет в запустение и больше не будет приносить плодов!

И тогда все принялись искать способы размножения; вот так они и придумали мужчину!

Я смеялась вместе с ними.

— Почему же мужчина такой, какой он есть?

— Дорогая, если бы мы только знали!

Иногда они переходили к загадкам:

— Что исцеляет от ночной темноты?

— Свеча!

— Что исцеляет от дневной жары?

— Вода реки.

— Что исцеляет от горечи жизни?

— Ребенок!

И они принимались сочувствовать мне, ни разу не родившей. Затем, словно нить за иголкой, следовало множество торопливых вопросов:

— Когда судьи Салема отправили тебя в тюрьму, разве ты не могла изменить облик, превратиться, например, в мышь и юркнуть в щель между досками? Или в разъяренного быка и поддеть их всех на рога?

Я пожимала плечами и снова объясняла, что они ошибаются насчет меня, преувеличивая мои силы. Однажды вечером спор зашел слишком далеко, и мне пришлось защищаться:

— Если бы в моей власти было все, неужели я не сделала бы вас свободными? Не стерла бы морщины с ваших лиц? Не заменила бы пеньки в ваших деснах зубами — ровными и сверкающими, будто жемчужины?

Лица оставались недоверчивыми, и тогда, окончательно пав духом, я пожала плечами:

— Поверьте, я не настолько могущественна!

Стали ли эти слова предметом обсуждения? Были ли они искажены? Неверно истолкованы?

Так или иначе, Кристофер ко мне переменился. Он входил в мою хижину в полночной темноте и брал меня, не снимая одежды, что оживляло в моей памяти жалобу Элизабет Паррис:

— Моя бедная Титуба, он овладевает мной, не раздеваясь и даже не глядя на меня!

Когда я пыталась расспросить его, что произошло за день, он отделывался очень краткими ответами.

— Говорят, вы с Сент-Джеймсом готовите общее восстание?

— Женщина, закрой рот!

— Говорят, вы смогли напасть на склад в Уалдей, застав всех врасплох, и заполучить кучу ружей?

— Женщина, можешь дать немного отдыха

моим ушам?

Однажды вечером он мне бросил:

— Ты же всего-навсего обычная негритянка, а хотела бы, чтобы с тобой обращались как с какой-то драгоценностью?

Я поняла, что мое присутствие стало нежелательным и мне нужно уходить.

Когда наступил день, я позвала Ман Яя и свою мать Абену; они уже несколько дней не появлялись, словно не желая становиться свидетельницами моего провала. Они не поспешили на зов, а когда появились передо мной, наполняя хижину ароматами гуавы и розовых яблок, уставились на меня глазами, полными упрека:

— У тебя уже волосы седеют, а ты все не можешь обойтись без мужчин?

Я ничего не ответила. После минутного молчания я решилась посмотреть им в лицо.

— Я собираюсь вернуться к нам!

Странное дело, едва узнав, что я ухожу, женщины собрались вместе. Все они выглядели очень огорченными. Кто-то из них дал мне аккуратно связанную и готовую к жарке птицу, кто-то несколько фруктов, кто-то мадрас[41] в черную

---

[41] Сноски: 41
Легкая полушелковая ткань или платок из нее.

и коричневую клетку. Они проводили меня до изгороди из драконова дерева, а вот Кристофер, который якобы держал совет с мужчинами у себя в хижине, не удосужился даже появиться на пороге.

Я обрела свою хижину такой же, какой когда-то оставила. Она стала чуть неустойчивее. Чуть трухлявее стали стены под крышей, похожей на плохо сделанную прическу. На уровне окна — пуансеттия, вся покрытая кроваво-красными цветами. Ночные птицы, устроившие себе гнездо между двумя изъеденными лесными вшами досками, улетели, жалобно крича. Я открыла двухстворчатую дверь. Удивленные грызуны пустились наутек.

Таинственным образом предупрежденные о моем возвращении рабы устроили мне праздник. Плантация еще раз перешла в другие руки. Сперва она принадлежала отсутствовавшему хозяину, который ограничивался тем, что приказывал отсылать ему прибыль, которую все время находил недостаточной. Затем плантация была перекуплена неким Эринном, который привез из Англии усовершенствованный инструмент и собирался в самое ближайшее время сколотить себе состояние.

Рабы привели мне телку, которую, несмотря на свой страх, тайком забрали из хозяйского стада; будто знак предназначения, на лбу у нее была отметина в виде треугольника из темной шерсти.

Я принесла телку в жертву перед самой зарей и пропитала ее кровью землю такого же алого цвета. После этого я без промедления принялась за работу. Обустроила сад со всеми растениями, необходимыми для занятий моим искусством. Чтобы заполучить их, я без страха забиралась в самые дикие и самые отдаленные уголки. Одновременно с этим разбила огород. Вскоре рабы, завершив свой тяжелый дневной труд, стали приходили помогать мне — копать, пропалывать и подкармливать растения. Они проявляли чудеса изобретательности, принося мне семена гомбо и помидор, а также саженец лимонного дерева. Они вскопали достаточно много грядок, чтобы посадить ямс; вскоре я увидела, как подпорки обвивают прожорливые лианы. После того как мне удалось раздобыть нескольких кур и боевого взъерошенного петуха, я оказалась обеспечена всем необходимым.

Мой распорядок дня был прост. Я вставала на рассвете, молилась, спускалась искупаться к реке Ормонд, наскоро ела, посвящая остальное время

изысканиям и заботам. В те времена холера и оспа были постоянным бичом плантаций, укладывая в землю работавших там негров и негритянок. Я поняла, как лечить эти болезни. Кроме того, я узнала, как излечивать тропическую гранулему и заживлять все виды ран, которые наши наносят себе изо дня в день. Мне удавалось вернуть на место искромсанную фиолетовую кожу. Скреплять куски костей и латать части тела. Все это, конечно, с помощью моих невидимых, которые если и покидали меня, то ненадолго. Я прекратила гоняться за несбыточными мечтами: делать людей непобедимыми и бессмертными. Я приняла ограниченность человеческой природы.

Возможно, вас это удивит, но в те времена, когда хлыст громко и тяжело хлопал по нашим плечам, мне удавалось наслаждаться этой свободой, этим спокойствием. Дело в том, что у наших земель две стороны. Одна — где проезжают коляски хозяев и лошади их полицейских, вооруженных мушкетами и сопровождаемых яростно лающими собаками. Другая — тайная и загадочная, составленная из паролей, из данных шепотом советов и заговора молчания. На этой стороне я и жила под защитой всеобщего соучастия. Ман Яя заставила густые заросли вырасти вокруг моей хижины;

я оказалась будто в укрепленном замке. Неискушенный взгляд различал только нагромождение гуавы, папоротников, деревьев плюмерии и акома; то тут, то там в зелени виднелись фиолетовые цветы гибискуса.

Однажды на пушистом корне папоротника я обнаружила орхидею. Я окрестила ее «Хестер».

14

Прошло несколько недель с тех пор, как я вернулась к себе и зажила, деля время между изысканиями, касающимися растений, и исцелением рабов, когда вдруг обнаружила, что беременна. Беременна!

Сперва я не поверила. Разве я не старая женщина с дряблой грудью, сплющенной вдоль грудной клетки, и толстым животом в складках? И все же мне следовало признать очевидное. То, что не смогла создать любовь моего еврея, заставили расцвести грубые объятия Кристофера. С этим пришлось смириться: ребенок — плод не любви, а случая.

Когда я сообщила Ман Яя и своей матери Абене, они уклонились от того, чтобы высказать свое мнение, ограничившись замечанием:

— Что же, на этот раз ты не сможешь от него избавиться!

— Твоя природа заговорила!

Отнеся их сдержанность на счет нелюбви, которую обе питали к Кристоферу, я теперь заботилась только о себе. А когда минули первые мгновения сомнений и неуверенности, я позволила высокой

волне счастья потащить меня, увлечь и захлестнуть с головой. Волне опьянения. Теперь все мои поступки объяснялись той жизнью, которую я носила внутри себя. Я кормила себя свежими фруктами, молоком белой козы, яйцами, снесенными курами, накормленными кукурузными зернами. Я омывала себе глаза в отварах ложечной травы, чтобы обеспечить маленькому человеку хорошее зрение. Мыла волосы кашицей из размолотых семян карапата, чтобы волосы ребенка были черными и блестящими. Подолгу предавалась глубокой дремоте в тени манговых деревьев. Одновременно с этим ребенок сделал меня воинственной. Дочь, в этом я была уверена! Какое будущее познает она? Такое же, как у моих братьев и сестер — рабов, изможденных условиями жизни и тяжелым трудом? Или же будущее, подобное моему — жизнь изгоя, вынужденного прятаться и жить в затворничестве на опушке в глубине зарослей?

Нет, если миру предстоит обрести моего ребенка, ему следует измениться!

Как-то раз я попыталась вернуться к Кристоферу в Фарли Хиллз; не для того, чтобы сообщить о своем состоянии, с которым он бы мне ничем не помог, но чтобы попытаться подтолкнуть его

к одному поступку. Мне было известно: теснота нашего Барбадоса обескураживала многих плантаторов, отправлявшихся на поиски более обширных земель, благоприятных для их честолюбивых устремлений. В частности, они устремлялись на Ямайку, которую английские войска недавно вырвали у испанцев.

Кто знает, вдруг, внушив им ужас, получится ускорить отплытие плантаторов и вышвырнуть всех в море? Однако очень быстро — больше, чем воспоминание о бесславном поведении Кристофера со мной — помешало воспоминание о том, как он счел меня слабой. Я решила рассчитывать только на себя. Но как?

Я удвоила молитвы и жертвы в надежде, что кто-нибудь из невидимых подаст мне знак. Ничего. Я попыталась расспросить Ман Яя и свою мать Абену. Пыталась застать их врасплох, когда полагала, что они не настороже, и побудить их доверить мне то, что они считают нужным скрывать от меня. Напрасно.

Обе плутовки все время уходили от ответа, выкручиваясь:

— Тот, кто хочет знать, почему море такое голубое, очень быстро оказывается в глубине вод.

— Солнце опаляет крылья хвастуну, который

желает приблизиться к нему.

Я была в своей хижине, когда рабы привели мне подростка, которого надсмотрщик почти насмерть забил хлыстом из бычьего сухожилия. Он получил почти двести пятьдесят ударов по ногам, ягодицам и спине, чего организм, и так уже ослабленный пребыванием в тюрьме — так как мальчишка был наглым, злостным нарушителем, плохим негром, характер которого не удавалось обуздать, — не смог выдержать. Рабы несли его в яму, вырытую в поле с гвинейской травой, когда заметили, что он еще шевелится. Тогда они решили положиться на меня.

Я велела опустить Ифижена — так его звали — на соломенную подстилку в углу комнаты, чтобы от меня не ускользнул ни один его вздох. Я приготовила припарки и пластыри для заживления ран. На те, что были загрязнены, я положила смесь со свежеразрезанной печенью животного, чтобы она вытянула из них гной и плохую кровь. Я беспрестанно обновляла компрессы у него на лбу и спустилась к водоемам Конгринтона, чтобы собрать слизь тростниковых жаб, которые нигде больше не размножаются, предпочитая эту жирную коричневую землю.

После двадцати четырех часов упорных забот,

которым я со страстью предавалась, мои усилия были вознаграждены: Ифижен открыл глаза. На третий день юноша заговорил:

— Мама, мама, вот ты и вернулась! Я думал, ты пропала навсегда.

Я взяла его за руку, еще горячую от жара, уже искривленную и мозолистую:

— Я не твоя мать, Ифижен. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты поговорил со мной о ней.

Ифижен вытаращил глаза, чтобы лучше меня разглядеть, и, поняв, что обознался, снова без сил опустился на подстилку:

— Когда мне было три года, я видел, как умерла моя мать. Она была одной из жен Ти-Ноэля, так как у него их было множество — рассеянных по плантациям, тех, кому он доверял размножать свое семя. Его мужское семя. Мама воспитывала меня с благоговением. Увы! Она имела несчастье быть красивой. Однажды, когда она возвращалась с мельницы, несмотря на пот и лохмотья, господин Эдуард Дэшби заметил ее и приказал надсмотрщику привести к нему, когда начнет темнеть. Не знаю, что произошло, когда она оказалась перед ним, во всяком случае, на следующий день всех рабов с плантации выстроили в круг и запороли ее до смерти!

Как эта история походила на мою! Внезапно привязанность, которую я сразу почувствовала к Ифижену, расцвела пышным цветом, найдя себе в некотором роде законное основание. В свою очередь, я рассказала ему историю своей жизни, обрывки из которой он уже знал, так как я была — ничего похожего я раньше и предположить не могла — легендой у рабов. Когда я подошла к пожару в доме Бенджамина Коэна Д'Азеведо, он, нахмурившись, прервал меня:

— Но почему? Разве они не такие же белые, как они?

— Без сомнений!

— Неужели они так нуждаются в ненависти, что готовы губить и белых?

Я попыталась объяснить ему то, что усвоила из уроков Бенджамина и Метахебель, то, что касалось их религии и их разногласий с язычниками. Но Ифижен понял не больше моего, то есть не особенно много.

Понемногу Ифижену удалось сесть на ложе, а затем встать. Вскоре он сделал несколько шагов и вышел из хижины. Первое, о чем он позаботился, — это починил входную дверь, которая плохо закрывалась, с самоуверенным видом заявив:

— Мама, тебе просто необходимо, чтобы рядом

был мужчина!

Я едва удержалась, чтобы не расхохотаться, настолько он сам проникся той мыслью, которую высказал. Какой же Ифижен красивый молодой негр! Череп идеально овальной формы под курчавыми волосами с завитками не крупнее зерен перца. Высокие скулы. Фиолетовый рот — сочный, будто готовый целовать весь мир, если бы тот захотел уделить ему внимание вместо того, чтобы отталкивать его, отверженного! Шрамы от ударов, обезображивающие грудь и туловище, казались мне постоянным напоминанием об этой жестокости. И всякий раз, когда я растирала его бальзамом из клещевины, мое сердце переполнялось гневом и возмущением. Однажды утром я больше не смогла сдерживаться:

— Ифижен, ты, конечно, заметил, что я ношу ребенка?

Он стыдливо полуприкрыл глаза:

— Я не осмеливался об этом говорить!

— Послушай, я мечтаю открыть глаза своей дочери на другое солнце!

Некоторое время он молчал, будто осознавая все значение моих слов. Затем он поспешил ко мне и присел на корточки у моих ног так, как особенно любил делать.

— Мама, на каждой плантации я знаю имена всех, кто за нами последует. Нам достаточно только слово сказать.

— У нас нет оружия.

— Огонь, мама, славный огонь! Огонь, который пожирает и обжигает!

— Что мы будем делать после того, как выкинем их в море? Кто будет управлять?

— Мама, белые и в самом деле тебя испортили: ты слишком много думаешь. Сперва выгоним их!

Днем, вернувшись после своего ежедневного омовения в реке Ормонд, я нашла Ифижена, занятого серьезным разговором с молодыми парнями его возраста, двумя недавно купленными рабами, думаю, наго. Однако я не узнала звучности языка Ман Яя; Ифижен сообщил мне, что они из Мондонга[42], прибыли из гористой местности и привычны ко всем скрытым опасностям леса.

— Это настоящие военные вожди. Готовые победить или умереть.

Должна признаться, что после того, как мысль о восстании была высказана и с общего согласия принята, Ифижен больше ни о чем со мной не

---

[42] Сноски: 42
Местность на северо-востоке Центрально-Африканской Республики.

советовался. Я оставила его действовать, переполненная благостной ленью беременности: сидишь себе, поглаживая живот и напевая песни своему ребенку. Например, ту, что любила моя мать Абена; ту, что снова всплывала у меня в памяти:

Где-то высоко в лесу
Хижина на сваях.
Кто внутри, кто там живет,
То никто не знает.
Это зомби календа,
Что свинину пожирней очень любит…

Вскоре я увидела, что Ифижен складывает факелы, сделанные из веток дерева гуавы, обмотанных паклей. Он объяснил мне:

— Такой будет в руке у каждого из наших людей; каждый зажжет его одним и тем же движением в одно и то же мгновение, когда мы все соберемся у жилищ белых людей. Ах! Веселый же будет огонь!

Опустив голову, я с огорчением произнесла:

— Дети тоже погибнут? Те, что еще в утробе у матери? Дети с молочными зубами? И девушки, достигшие брачного возраста?

Он обернулся вокруг себя, настолько велик был

его гнев:

— Ты же мне сама рассказывала. Разве они пожалели Доркас Гуд? Разве они пожалели детей Бенджамина Коэна Д'Азеведо?

Опустив голову еще ниже, я прошептала:

— Разве мы должны уподобляться им?

Ничего не ответив, он быстро ушел.

Я позвала Ман Яя, которая уселась, поджав ноги, в ветвях калебасового дерева, и горячо начала:

— Ты знаешь, что мы готовим. И вот, когда пришло время действовать, я вспоминаю, что ты говорила мне, когда я хотела отомстить Сюзанне Эндикотт: «Не загрязняй своего сердца. Не становись такой же, как они». Не цена ли это свободы?

Но вместо того, чтобы ответить мне с серьезностью, на которую я рассчитывала, Ман Яя принялась перепрыгивать с ветки на ветку. Достигнув верхушки дерева, она бросила мне:

— Ты говоришь о свободе. Ты хоть знаешь, что это такое?

Затем она исчезла, не дав мне времени задать ей другие вопросы. Я решила, что она не в духе. Неужели ей нужно возражать против любого мужчины, кто бы ни жил рядом со мной? Даже если это всего лишь ребенок? Почему она хочет, чтобы я проводила жизнь в одиночестве? Я ре-

шила не давать никаких советов и позволить Ифижену действовать, как считает нужным. Однажды вечером он пришел и присел рядом со мной:

— Мама, тебе нужно вернуться в лагерь беглецов. Ты должна увидеться с Кристофером!

Я подпрыгнула:

— Никогда! Вот это никогда!

Он настаивал, уважительно и одновременно с этим настойчиво:

— Так надо, мама! Ты не знаешь, что такое беглецы на самом деле. Между ними и хозяевами существует молчаливая договоренность. Если беглецы хотят, чтобы им дали возможность наслаждаться их ненадежной свободой, они должны доносить обо всех приготовлениях, обо всех попытках устроить бунт, о которых услышат на острове. У них же повсюду шпионы. Ты единственная, кто может обезоружить Кристофера.

Я пожала плечами:

— Думаешь?

Он смущенно спросил:

— Не его ли ребенка ты носишь?

Я ничего не ответила.

В то же время я поняла, насколько обоснованны его замечания, и отправилась на Фарли Хиллз.

— Он пообещал тебе, что не станет вмешиваться?

— Он это обещал.

— Как, по-твоему, он был искренним?

— Насколько я могу об этом судить! В конце концов, я не так хорошо его знаю.

— Ты носишь ребенка от этого мужчины и говоришь, что не знаешь его?

Посрамленная, я не произнесла ни слова. Ифижен поднялся на ноги:

— Мы решили напасть через четыре ночи!

Я возразила:

— Через четыре ночи! Почему такая спешка? Дай мне, по крайней мере, расспросить невидимую, чтобы знать, является ли момент благоприятным.

Он издал смешок, который его помощники тут же хором подхватили, и бросил:

— До сих пор, мама, невидимая не очень-то хорошо с тобой обращалась. Иначе ты бы не была там, где сейчас находишься. Эта ночь благоприятна, так как луна будет в своей первой четверти и выйдет только после полуночи. Темнотой наши мужчины и воспользуются. Со звоном и грохотом, держа зажженные факелы в руках, они двинутся к жилищам белых.

В ту ночь я увидела сон.

Подобные трем хищным птицам, мужчины входили ко мне в комнату. На них были черные капюшоны, полностью закрывающие лицо, но, несмотря на это, я знала, что один из них — Сэмюэль Паррис, второй — Джон Индеец, а третий — Кристофер. Они приблизились ко мне; у каждого в руке была крепкая заостренная палка. Я завопила:

— Нет, нет! Разве я все это уже не пережила?

Не обращая внимания на мои крики, они задрали мне юбки, и меня пронзила чудовищная боль. Я завопила еще громче.

В это мгновение на лоб мне легла чья-то рука. Рука Ифижена. Придя в себя, я встала, все еще в ужасе. Мне казалось, что я и сейчас чувствую эту боль.

— Что с тобой? Разве ты не знаешь, что я здесь, совсем рядом?

Сила моего сна была такова, что я еще долгое время не могла произнести ни слова, снова переживая ужасную ночь, предшествующую моему аресту. Затем я принялась умолять:

— Ифижен, дай мне время вознести молитвы, принести жертву и попробовать объединить все наши силы…

Он перебил:

— Титуба… — Впервые он назвал меня так, будто из матери я превратилась в наивного неразумного ребенка. — Я с почтением отношусь к твоим талантам целительницы. Разве не благодаря тебе я жив, дышу и вижу солнце? Но остальное, прошу тебя, предоставь мне. Будущее принадлежит тем, кто умеет его выстроить, и, поверь, они достигнут его не заклинаниями и жертвоприношениями. Они достигнут его тем, что будут действовать.

Я не нашла, что ответить.

Я решила больше не спорить и принять меры предосторожности, которые сочту необходимыми. Однако та часть меня, которой предстояло сыграть свою роль, была такой, что я не могла обойтись без их мнения. Удалившись на самую кромку берега реки Ормонд, я позвала Ман Яя, свою мать Абену и Яо. Они появились. Приняв расслабленное счастливое выражение их лиц за наилучшее предзнаменование, я успокоилась и спросила:

— Вы знаете, что готовится, мне нужен ваш совет.

Однако слово взял Яо, неразговорчивый как при жизни, так и после.

— Это напоминает мне бунт, случившийся, когда я был ребенком. Его организовал Ти-Ноэль, который тогда еще не покорил горы и, как обычный негр, проливал пот на плантации Белл-Плейн. У него всюду имелись свои люди, и по условленному сигналу они должны были обратить дома белых в пепел.

Что-то в голосе Яо навело на мысль, что он меня предостерегает. Довольно сухо я спросила:

— Ну и чем все закончилось?

Он принялся скручивать сигару из табачных листьев, словно желая выиграть время, а затем в упор посмотрел на меня:

— Кровью, чем всегда такое заканчивается! Время для нашего освобождения не пришло.

Я спросила хриплым голосом:

— Когда же, когда оно придет? Сколько еще крови и почему?

Трое духов хранили молчание, будто я снова хотела грубо нарушить правила и поставить их в затруднительное положение. Яо заговорил:

— Потребуется, чтобы наша память была затоплена кровью. Чтобы наши воспоминания плавали на ее поверхности, будто кувшинки.

Я настаивала:

— Короче говоря, сколько времени?

Ман Яя покачала головой:

— У негра несчастьям конца нет.

Уже привыкнув к ее речам, полным покорности судьбе, я раздраженно пожала плечами. Чего ради спорить?

Повелитель времени,

Ночи и вод,

Ты, заставляющий шевелиться ребенка в утробе матери,

Ты, заставляющий стебли сахарного тростника расти

И наполняться клейким соком,

Повелитель времени,

Солнца и звезд…

Никогда раньше я не возносила молитву с таким пылом. Ночь вокруг меня была черной, трепещущей от запаха крови жертв, громоздившихся у моих ног.

Хозяин настоящего,

Прошлого и будущего,

Ты, без кого земля не родила бы ничего –

Ни кокосовых слив, ни древесного ща-

веля,

Ни яблок Цитеры,

Ни голубиного гороха…

Я совершенно утомила себя молитвами.

Незадолго до полуночи обессиленная луна прикорнула на подушке из тучи.

15

Нужно ли мне заканчивать свою историю? Разве те, кто до сих пор следил за моим повествованием, не догадались, каков конец?

Предсказуемый, такой легко предсказуемый.

И потом, разве, рассказывая это, я не переживаю свои горести заново — одно за другим? Должна ли я страдать еще дважды?

Ифижен и его друзья ничего не оставили на волю случая. Не знаю, каким образом они раздобыли ружья. Может быть, они захватили арсенал, например, Ойстинс или Сент-Джеймс? Таких складов было полно на нашем острове, в прошлом служившем отправной точкой для нападений на испанские владения и до сих пор жившем в страхе перед французами. Я до сих пор вижу сложенные перед домом ружья, порох и пули, которые Ифижен с друзьями делят на равные кучки. Не знаю, каким образом они подсчитывали, кому сколько выдавать: всего восемьсот сорок четыре на всех, в ком они могли быть уверены. Я слышала, как они перечисляют имена и цифры:

— Ти-Роро из Буа Дебу: три ружья и три фунта пороха.

— Невис из Кастлериджа: двенадцать ружей.

— Буа-Сан-Суаф из Пампкита: семь ружей и четыре фунта пороха.

И посланцы уходили во все стороны, скрываясь под деревьями и в высоких травах. В какое-то мгновение я увидела, что Ифижен настолько устал, что взмолилась:

— Не хочешь немного отдохнуть? Разве тебе нужно умирать еще до победы?

Он нетерпеливо отмахнулся, но все же послушался и пришел посидеть рядом со мной. Я гладила его по волосам — жестким и выгоревшим на солнце.

— Я тебе часто рассказывала о своей жизни. Однако кое-что я от тебя скрыла. Раньше я уже носила ребенка, от которого была вынуждена избавиться. Теперь мне кажется, что я снова обрела его в твоем облике.

Он пожал плечами:

— Иногда задаешься вопросом: откуда вы, женщины, берете все свои несбыточные мечты?

После этого он поднялся на ноги и бросил мне:

— Ты хоть когда-нибудь подумала, хочу ли я, чтобы ты обращалась со мной как с сыном?

Он вышел.

Я предпочла не особенно раздумывать над

смыслом его слов. Впрочем, было ли у меня на это время? Начался обратный отсчет: всего ночь до бунта. Я действительно не беспокоилась о том, чем закончится заговор. По правде говоря, я старалась об этом не думать. Я позволяла своему разуму затуманиваться разукрашенными мечтами, а большую часть времени мечтала о своем ребенке. Дочь начала шевелиться у меня в животе; как будто она передвигалась там ползком — медленно, нежно, словно желая исследовать тесное пространство. Я представляла ее себе: слепой волосатый головастик, который барахтается, плавает, пытаясь перевернуться на спину, терпит неудачу и упрямо начинает снова и снова. Еще немного времени — и мы увидим друг дружку: я под ее новым взглядом буду стыдиться своих морщин и недостатка в зубах. Моя дочь отомстит за меня! Она сможет привлечь любовь негра, сердце которого окажется горячим, словно кукурузная лепешка. Он будет ей верен. У них родятся дети, которых они научат видеть красоту в самих себе. Дети, которые вырастут свободными, будут тянуться к небу.

Около пяти часов Ифижен принес мне кролика, которого украл в какой-то хибаре и сейчас держал за уши. Мне, не отличавшейся щепетильностью,

когда требовалось предать смерти жертвенных животных, претило убивать невинных созданий, выкормленных людьми. Я не заколола ни одной птицы и не выпотрошила ни одной рыбы, не попросив прощения за зло, которое причиняю им. Усевшись под навесом, служившим мне кухней — довольно грузно, так как мои движения начали становиться неуклюжими, — я принялась готовить зверька. Когда я разрезала ему брюхо, в лицо мне хлынул поток черной вонючей крови; одновременно с этим по земле покатились два комка гниющей плоти, обернутые зеленоватой перепонкой. Запах был таким, что я отпрянула; выпав у меня из руки, нож воткнулся мне в левую ногу. Я вскрикнула, Ифижен поспешил на помощь, отбросив ружье, которое смазывал.

Он и вырвал нож из моего тела, попытавшись остановить поток крови, который тек и тек не переставая. Казалось, что через крохотную ранку из меня сейчас вытечет вся кровь; ее уже набралось целый пруд; это напомнило слова Яо:

— Наша память будет затоплена кровью. Наши воспоминания будут плавать на ее поверхности, словно кувшинки.

После того как Ифижен распустил на корпию все одежки, какие только попались ему под руку,

ему удалось остановить кровотечение, затем он перенес меня — запеленатую как младенец — внутрь хижины.

— Не шевелись больше. Сейчас я всем займусь. Думаешь, я не умею готовить?

Едкий запах крови не замедлил проникнуть мне в ноздри, раздражая их; вот тогда в голове у меня и пронеслось воспоминание о Сюзанне Эндикотт. Ужасная мегера! Разве не из-за меня она лежала такая же запеленатая месяцы, годы напролет, купаясь в соке своего тела? Не было ли все это ее местью, которую она когда-то пообещала? Кровь за мочу. Которая из нас двоих опаснее? Я хотела помолиться, но разум напрочь отказался мне служить. Я так и осталась лежать, уставившись невидящим взглядом на переплетение прутьев, поддерживавших крышу.

Чуть позже ко мне пришли Ман Яя, моя мать Абена и Яо. Они находились в Норд-Пойнт, ответив на призыв одного колдуна, когда увидели, что со мной случилось. Ман Яя похлопала меня по плечу.

— Ничего страшного. Скоро ты об этом даже думать не будешь.

Конечно, моя мать Абена не смогла удержаться от того, чтобы не вздохнуть и не проворчать:

— Вот какого дара ты совершенно лишена, так это способности выбирать себе мужчин. Скоро все наконец будет в порядке.

Я посмотрела на нее в упор:

— Что ты хочешь этим сказать?

Но она уклонилась от ответа.

— Ты намерена собирать вокруг себя ублюдков? Посмотри, какие у тебя волосы на голове; будто белая пакля с хлопкового куста.

Яо же ограничился тем, что поцеловал меня в лоб, прошептав:

— До скорого! Когда понадобится, мы будем здесь.

Они исчезли.

Около восьми часов Ифижен принес мне миску с едой. Он состряпал похлебку из свиного хвоста, риса и черного гороха. Он сменил мои повязки, не выказав никакого беспокойства при виде того, что с них снова капает кровь.

Последняя ночь перед завершающей операцией, когда спорят друг с другом сомнение, страх, малодушие. Чего ради? Разве у жизни настолько плохой вкус? Зачем рисковать потерять ее вместе с кусочками счастья, которые она раздает, несмотря на свою скупость? Последняя ночь перед завершающим бунтом! Я дрожала, не осме-

ливаясь потушить свечу, и видела, как на стене танцует чудовищная тень от моего тела. Ифижен пришел и лег рядом, прижавшись ко мне. Я обняла его туловище, худое и в то же время такое крепкое, почувствовав, как его сердце бьется бешеным галопом. Я прошептала:

— Тебе тоже страшно?

Он ничего не ответил; в это время его рука что-то нащупывала в темноте. И вот я со стыдом поняла, что он хочет. Может быть, причиной тому был страх? Может быть, Ифижен заботился о том, чтобы утешить меня? Утешиться самому? Желание испытать удовольствие в самый последний раз? Несомненно, все эти чувства объединились, образовав одно — властное и жгучее. Когда его молодое, пылающее страстью тело прижалось к моему, плоть моя воспротивилась. Мне было стыдно вверять его ласкам свою старость; я едва не оттолкнула Ифижена изо всех сил. К тому же меня наполняла нелепая убежденность, что я совершаю инцест. Затем его желание стало передаваться мне. Я почувствовала, что где-то во мне накапливается волна; набрав силу, она тут же нахлынула, затопила меня, затопила его, затопила нас, заставив многократно прокрутиться друг вокруг друга, так, что мы задыхались,

пыхтели, умоляли. Затем волна отбросила нас — испуганных и растерявшихся — в спокойную бухту, обсаженную миндальными деревьями. Мы покрыли друг друга поцелуями, и Ифижен прошептал:

— Если бы ты знала, как я страдал, видя, что ты носишь ребенка не от меня, этого ребенка от мужчины, которого я презираю! Знаешь ли ты, кто на самом деле Кристофер и какова его роль? Но мы не станем говорить о нем, когда смерть, может быть, точит свои ножи.

— Ты веришь, что мы победим?

Он пожал плечами:

— Какая разница! Важно, что мы попытались, что отказались от покорности судьбе, от смирения перед неудачами.

Я вздохнула, и он снова привлек меня к себе.

Благословенна будь любовь, которая изливает на человека забвение. Которая позволяет забыть о своем положении раба. Которая отгоняет тревогу и страх! Успокоившись, мы с Ифиженом погрузились в целебную воду сна. Мы плыли против течения, наблюдая, как рыбы-иглы ухаживают за креветками. Мы сушили волосы в лунном свете. Однако этот сон был недолгим. Признаться, когда опьянение развеялось, мне стало немного стыд-

но. Что? Этот мальчик мог бы быть моим сыном! Разве я потеряла уважение к себе? И потом, что за процессия мужчин у меня в кровати? Конечно, Хестер мне бы так и сказала!

— Ты слишком любишь любовь, Титуба!

И я задавалась вопросом, не является ли это пороком, изъяном, который следует попытаться вылечить?

Снаружи галопом неслась лошадь ночи. Цок-цок-цок. Цок-цок-цок[43]. Рядом со мной спал сын-любовник. Мне же уснуть не удавалось. В памяти с особенным напряжением всплывали все события моей жизни; вокруг подстилки толпились образы тех, кого я когда-то любила или ненавидела. О, я узнавала их всех! Не было ни одного лица, которое я не смогла бы назвать по имени. Бетси. Абигайль. Энн Патнам. Госпожа Паррис. Сэмюэль Паррис. Джон Индеец. И вот именно тогда, когда мое тело только что представило доказательство своей легкости, сердце напоминало, что в нем всегда жил только он.

Что стало с ним в холодной и зловещей Америке?

---

[43] Сноски: 43

Непереводимая игра слов, буквальный перевод слова, которое приводится вместо звукоподражания: placata означает «паук» или «карликовый удав».

Я знала, что все более и более многочисленные работорговцы приезжают со своим товаром на ее побережья и что она готовится повелевать миром благодаря тому, что заработано нашим потом. Я знала, что индейцы стерты с ее карты, вынуждены скитаться по землям, когда-то им принадлежавшим.

Что делал Джон Индеец в стране, которая так сурова к нашим? Которая так жестока к слабым? К мечтателям. К тем, кто оценивает человека не по размеру его состояния?

Лошадь ночи неслась галопом. Цок-цок-цок. Цок-цок-цок. Все образы кружились вокруг меня с ясностью, свойственной лишь созданиям ночи.

Может быть, это Сюзанна Эндикотт отомстила мне и ее власть превосходит мою?

Снаружи поднялся ветер. Я услышала, как под его порывом с деревьев градом попадали плоды манго. Услышала, как качаются, сталкиваясь друг с другом, плоды калебасового дерева. Мне было страшно. Мне было холодно. Мне хотелось вернуться в материнское чрево. Но в это мгновение пошевелилась моя дочь, словно для того, чтобы напомнить о моей привязанности. Я положила руку себе на живот; постепенно меня охватило нечто вроде спокойствия. Некая ясность, как

если бы я смирилась с заключительной драмой, которую мне вскоре предстояло пережить.

Ветер успокаивался, это я уловила обострившимися чувствами. В вольере крикнула птица, напуганная мангустом. Потом наступила тишина. Я наконец-то уснула.

Едва я закрыла глаза, как пришел тот самый сон.

Я хотела войти в лес, но деревья преграждали мне путь; меня опутывали черные лианы, упавшие с их верхушек. Я открыла глаза. Комната была черна от дыма. Я едва не вскрикнула:

— Но это я уже пережила!

Опомнившись, я растолкала Ифижена, спящего, будто ребенок, со счастливой улыбкой на губах. Он открыл глаза, затуманенные воспоминанием об удовольствии. Тем не менее, очень быстро поняв, что происходит, он вскочил на ноги. Я последовала его примеру; медленней, чем он, из-за раны, из которой продолжала течь кровь.

Мы вышли. Хижина была окружена солдатами, которые прицелились в нас. Кто же нас предал?

Плантаторы решили преподать урок, так как за три года это был второй случай большого восстания. Они обеспечили себе существенную помощь английских войск, прибывших, чтобы защищать

остров от нападений со стороны соседей, и ничего не оставлявших на волю случая. Все плантации методично обыскали, а вызвавших подозрение рабов заперли в каких-нибудь сыроварнях. Затем, покалывая штыками пониже спины, всех согнали на просторную поляну, где уже были возведены десятки виселиц.

Окруженный подчиненными, с повязкой на глазу, Эррин оглядывал сцену казни. Увидев меня, он усмехнулся:

— Хорошо же, ведьма! То, что тебе следовало познать в Салеме, ты сейчас познаешь здесь! И ты присоединишься к сестрам, которые ушли раньше тебя. Славный у вас там будет шабаш!

Я не ответила. Я смотрела на Ифижена. Его как зачинщика избили настолько сильно, что он едва мог стоять и наверняка упал бы, если бы один из надсмотрщиков не заставлял его каждое мгновение подпрыгивать, обрушивая на него удары хлыста. Лицо Ифижена было настолько распухшим, что он, должно быть, мало что видел, ища солнце будто слепой, больше жаждущий тепла, чем света. Я крикнула:

— Не бойся! Главное — не бойся! Скоро мы снова встретимся.

Он повернулся на мой голос и, не в силах гово-

рить, помахал рукой.

Его тело было первым, завертевшимся в пустоте, повиснув на прочной балке. Меня повели к виселице последней, так как я заслуживала особого обращения. Наказанию, которого я «избежала» в Салеме, меня следовало подвергнуть сейчас. Мужчина в торжественном черно-красном наряде напомнил все мои преступления, совершенные в прошлом и настоящем. Я околдовала жителей мирной богобоязненной деревни. Я призвала в ее лоно Сатану, натравив жителей друг на друга, введя их в заблуждение и наполнив яростью. Я подожгла дом честного торговца, не пожелавшего принять во внимание мои преступления и заплатившего за свою наивность смертью — своей и своих детей. Когда прозвучало это обвинение, я едва не выкрикнула, что это не так, что это ложь — жестокая и низкая ложь. Но тотчас спохватилась. Чего ради? Скоро я достигну царства, где безраздельно сияет свет правды. Сидя верхом на перекладине виселицы, Ман Яя, моя мать Абена и Яо ждали меня, чтобы взять за руку.

Я была последней, кого отвели к виселице. Вокруг меня со странных деревьев свисали странные плоды.

Эпилог

Вот история моей жизни. Горькая. Такая горькая.

Моя истинная история, которой не будет конца, начинается там, где заканчивается эта. Кристофер ошибся или, без сомнения, просто желал меня уязвить. Песня о Титубе существует! Я слышу, как она раздается из конца в конец острова, от Норд-Пойнт до Сильвер-Сендс, от Бриджтауна до Боттон-Бей. Она бежит по гребням холмов. Она качается на кончиках лепестков ярких цветов. Как-то раз я слышала, как ее напевает мальчик четырех или пяти лет от роду. От радости я уронила к его ногам три очень спелых плода манго. Мальчик замер в изумлении, уставившись на дерево, которое, вопреки времени года, преподнесло ему такой подарок. Вчера ее мурлыкала женщина, выколачивавшая свои лохмотья на скалах. В качестве благодарности я обвилась вокруг ее шеи. Я вернула ей красоту, о которой женщина и думать забыла и которую заметила, посмотревшись в воду, как в зеркало.

Каждое мгновение я слышу ее.

Когда спешу к изголовью того, кто уходит из жизни. Когда беру в руки еще перепуганный дух умершего. Когда позволяю людям мельком увидеть тех, кого они считают потерянными.

Потому что как живая, так и мертвая, как видимая, так и невидимая, я продолжаю утешать, исцелять. Но особенно важна для меня одна обязанность, исполнять которую помогает мне Ифижен — мой сын-любовник, спутник моей вечности. Закалять сердца мужчин. Подпитывать их мечтами о свободе. О победе. Я не породила никакого восстания. Никакого бунта. Никакого неповиновения.

После того как было подавлено великое восстание 17… года, не проходило и месяца, чтобы не случался пожар. Без того, чтобы отравление не опустошало то один, то другой дом белых. Эррин пересек море после того, как по моему приказу духи тех, кто по его приказу был казнен, ночь за ночью приходили играть на gwo-ka[44] вокруг его кровати. Я проводила его до самой бригантины *«Faith»*[45] и видела, как он напивается в тщетной попытке уснуть без сновидений.

---

[44] Сноски: 44
Большой барабан (*креол.*).

[45] Сноски: 45
Вера (*англ.*).

Кристофер тоже ворочается с боку на бок на своем ложе и совсем потерял вкус к женам. Я удерживаюсь от того, чтобы не причинить ему еще больше вреда. Ибо разве он не отец моей нерожденной дочери, умершей, так и не пожив?

Я не перешла море, чтобы преследовать Сэмюэля Парриса, судей и проповедников. Я знаю, что ими занялись другие. Что сын Сэмюэля Парриса — предмет его внимания и гордости — скоро умрет сумасшедшим. Что Коттон Матер будет опозорена и мелкая сучка покажет на нее пальцем. Что все судьи скоро потеряют самоуверенность. Что, по словам Ребекки Нурс, придет время другого суда. Даже если меня это не коснется, что за беда!

Я не принадлежу к цивилизации книги и ненависти. Воспоминания обо мне сохранят в сердцах близкие; для этого нет нужды записывать. Они сохранят воспоминания в своих сердцах и своих головах. Так как я умерла, не имея возможности родить ребенка, невидимые разрешили мне самой выбрать себе наследницу. Я долго искала. Я выслеживала в хижинах. Смотрела, как прачки кормят детей грудью. Как сборщицы урожая кладут на кучу пожитков грудничков, которых вынуждены брать с собой в поле. Я сравнивала,

взвешивала, прощупывала и нашла ту, кто мне был нужен: Саманта.

Потому что я видела, как она пришла в мир.

Я стала постоянно заботиться о Делис, ее матери — чернокожей креолке, поселившейся в Боттон-Бей на плантации Уиллоуби. Так как она уже потеряла двух или трех едва родившихся детей, она очень быстро позвала меня к себе. Чтобы залить тоску, ее спутник жизни пьянствовал на веранде. Роды продолжались много часов. Ребенок пошел ногами вперед. Мать теряла кровь и силы, и ее бедная измученная душа только и просила о том, чтобы ей дали скользнуть в потусторонний мир. Плод отказывался, он яростно боролся за то, чтобы войти в эту вселенную, от которой его отделяла лишь хрупкая створка плоти. В конце концов он восторжествовал. Я получила себе в руки маленькую девочку с любопытными глазами и решительным ртом. Я смотрела, как она растет, изучает огороженный ад плантации, спотыкаясь на шатких ногах и все же находя себе счастье в виде облака, раскрытом венчике иланг-иланга или холодном вкусе толстой апельсиновой кожуры. Едва научившись говорить, она стала спрашивать:

— Почему Замба такая глупая? И почему она

позволяет Кролику сидеть у себя на спине?

— Почему мы рабы, а они хозяева?

— Почему бог всего один? Почему не должен быть один для рабов и один для хозяев?

Так как ответы взрослых ее не устроили, она нашла для себя другие. В первый раз, когда я ей явилась, она, хоть и знала о моей смерти из ходивших по острову слухов, не выказала удивления, словно хорошо поняв, что избрана для совершенно особенной судьбы. Сейчас она с благоговением слушает меня. Я открываю ей разрешенные секреты, скрытую силу растений и язык животных. Я учу ее открывать для себя невидимый образ мира, сеть проходящих сквозь него связей и знаки-символы. Однажды ночью, когда отец и мать уснули, она присоединилась ко мне, и я научила ее любить.

Ребенок, которого я не носила, но которого сама себе назначила! Какое же это материнство, более высокое по своей сути!

Ифижен, мой сын-любовник, вовсе не промах. Восстание, которое он не смог осуществить при жизни, он стремится привести к завершению. Он выбрал себе сына. Маленький негр из народа конго с мягкими икрами, на которого надсмотрщики уже косятся. Не придет ли ему в голову

как-нибудь на днях спеть песню Титубы?

Я никогда не одна. Ман Яя. Моя мать Абена. Яо. Ифижен. Саманта.

И потом, есть мой остров. Я смешиваюсь с ним. Нет ни одной тропинки, по которой бы я не проходила. Ни одного ручья, в котором бы я не выкупалась. Ни одного из деревьев мапу, на ветвях которого я бы не покачалась. Это постоянное и необычное соединение возмещает мне долгое одиночество в пустынях Америки. Огромная жестокая земля, где духи порождают только зло! Скоро они закроют свои лица капюшонами, чтобы лучше нас мучить. Они закроют за нашими детьми тяжелые ворота гетто. Они будут оспаривать все наши права, и кровь ответит на кровь.

Единственно, о чем я сожалею — так как у невидимых тоже есть свои сожаления, чтобы их доля блаженства имела больше вкуса, — это о том, что вынуждена быть в разлуке с Хестер. Впрочем, мы поддерживаем общение. Я ощущаю запах сухого миндаля от ее дыхания. Улавливаю отзвук ее смеха. Но мы обитаем каждая на своей стороне океана, и мы не переходим его. Я знаю, что она следует своей мечте: построить мир женщин, который будет более справедливым и более человечным. Но я слишком люблю мужчин и

продолжаю в том же духе. Иногда мне случается скользнуть в постель кому-то из них, чтобы удовлетворить остатки желания, и мой мимолетный любовник изумляется своему одинокому удовольствию.

Да, сейчас я счастлива. Я понимаю прошлое. Я читаю настоящее. Я знаю будущее. Я знаю, почему существует столько страданий, почему глаза негров и негритянок сверкают от соленой воды. Но я знаю и то, что всему этому настанет конец. Когда? Какая разница? Я не тороплюсь, так как освободилась от нетерпения, свойственного человеческим существам. Что такое жизнь по отношению к необъятности времени?

На прошлой неделе покончила с собой молодая, недавно купленная рабыня — ашанти, как моя мать Абена. Священник окрестил ее, дав имя Летиция, и она — дикая и непокорная — подпрыгивала, когда ее так окликали. Трижды она пыталась проглотить язык. Трижды ее возвращали к жизни. Шаг за шагом я следовала за ней, насылая сновидения. Увы, утром после них она пребывала в еще большем отчаянии. Она воспользовалась моей невнимательностью, чтобы нарвать горсть листьев маниоки, которые прожевала вместе с ядовитыми корнями. Рабы

нашли ее окоченевшей, с пеной на губах, уже распространявшую ужасное зловоние. Случай остается единичным; куда более многочисленны другие, когда я удерживаю раба на краю отчаяния, шепча ему:

— Посмотри, как великолепна эта земля. Скоро она вся будет наша. Поля кормовых трав и сахарного тростника. Холмы, засаженные ямсом, и равнины маниоки. Вся!

Иногда, странное дело, мне приходит идея снова обрести смертную оболочку. И тогда я превращаюсь. Я становлюсь аноли[46] и выпускаю когти, когда ко мне приближаются дети, вооруженные короткими лассо из соломы. Иногда я становлюсь бойцовым петухом гимбе на площадке и упиваюсь криками куда больше, чем другие ромом. Ах! Я люблю волнение раба, которому позволяю выиграть сражение! Он уходит танцующим шагом, потрясая кулаком — тем движением, которое скоро будет символизировать другие победы. Иногда я становлюсь птицей и бросаю вызов сорванцам с рогаткой, которые кричат:

— Попал!

Я улетаю, шелестя крыльями и смеясь над их

---

[46] Сноски: 46
Маленькая ящерица. — *Прим. авт.*

расстроенными лицами. Наконец, иногда я становлюсь козой и скачу вокруг Саманты, которую не так легко одурачить. Потому что этот ребенок мой и умеет распознавать мое присутствие по вздрагиванию шерсти животного, по треску огня между четырьмя камнями, по переливающимся брызгам воды в реке, по дуновению ветра, трепещущего большие деревья и холмы.

Историческая справка

Процесс над салемскими ведьмами начался в марте 1692 года с ареста Сары Гуд, Сары Осборн и Титубы, которая признала «свое преступление». Сара Осборн умерла в тюрьме в мае 1692 года.

Девятнадцать человек было повешено, один мужчина — Жиль Кори — был приговорен к тяжелому наказанию — задавлен до смерти.

21 февраля 1693 года сэр Уильям Фипс, королевский губернатор колонии Бэй, отправил в Лондон доклад о процессе над ведьмами. В нем он сообщал о судьбе примерно пятидесяти женщин, все еще находящихся в тюрьмах колонии, и просил позволения прекратить их страдания. Что и сделали в мае 1693 года, когда последним подозреваемым было даровано общее прощение и они были отпущены на свободу.

Преподобный Сэмюэль Паррис покинул деревню Салем в 1697 году после длительной ссоры с ее жителями относительно невыплаченного жалования и не поставленных ему дров. Его жена умерла годом раньше, произведя на свет сына Нойеса.

К 1693 году Титуба — наша героиня — была продана за цену ее «содержания» в тюрьме, цепей и оков. Кому? Сознательный или неосознанный расизм историков послужил причиной тому, что это никого не заботило. По словам Анны Петри — американской чернокожей писательницы, которая была сильно увлечена этой исторической личностью, — Титуба была куплена ткачом и закончила свои дни в Бостоне.

В то же время, согласно устному преданию, Титуба была продана работорговцу, который возвратил ее на Барбадос.

Я же описала ее последние дни по собственному выбору.

Следует добавить, что деревня Салем сегодня называется Данверс, а в связи с процессом над ведьмами известностью пользуется город Салем, где проходило большинство процессов, но не всеобщая истерия.

М.К.